

НАТАЛЬЯ КОРНИЕНКО

## “НЕУЖЕЛИ СУДЬБА МОЯ — ВЕЧНО ВОЙНА, О ВОЙНЕ...”

*О дневниках Вс. Вишневского и о нашем отношении к истории*

К дневникам Всеволода Вишневского я впервые обратилась в ходе подготовки комментария к письмам Андрея Платонова 1946–1949 годы в секретариат Союза писателей. Вишневский был одним из заместителей генерального секретаря ССП А. Фадеева, и я надеялась найти в его дневнике так необходимые для комментария уточняющие детали к литературной жизни этих лет либо упоминания о ситуации с книгами Платонова послевоенного времени. Сам Вишневский, признаюсь, меня не интересовал. В последние десятилетия писателя если и вспоминали, то чаще всего в ряду классиков соцреализма, уверенно и лихо сброшенных нами с корабля современности и припечатанных к позорному столбу, — и за отношение к драматургии М. Булгакова, и за полемику с “Конармией” И. Бабеля (пьеса Вишневского “Первая Конная” вышла в 1930 году с предисловием С. Будённого), и за антипастернаковскую кампанию 1947 года, и за отношение к Сталину: “литературный функционер”, “советский вельможа”, “клевет Сталина”, “истинный партиец”, “графоман”... Порой кажется, что все упоминающие имя Вишневского просто соревнуются друг с другом в поисках последнего, уничтожающего писателя слова... В подобной стилистической манере представлены и дневники Вишневского в книге Н. Громовой “Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы” (2009): “Славился Вишневский графоманией, которая в чём-то оказалась полезной; он писал огромные простыни-письма и вёл столь подробные дневники, что в них помещались и сводки всех внешнеполитических событий; пламенные рассказы о встречах со Сталиным, посредственные мысли о литературе, диалоги с писателями и режиссёрами и сложные любовные отношения с женой писателя Ленча. Страсти в личной жизни кипели нешуточные, и порой Софья Касьяновна Вишневецкая, строго проверявшая записи в дневнике, возникала сама и размашистым почерком комментировала любовные переживания мужа”<sup>1</sup>. Изобличение Вишневского и его дневника продолжается и дальше: “Когда Вишневский в 1951 году умер, к работе над его литературным наследием всё было готово: тысячи его писем аккуратно собраны и разложены, часть его дневников тут же запущена в печать, домашний архив заботливо разложен и сдан государству. После этого жена Вишневского умерла. Миссия её была выполнена”<sup>2</sup>. Кажется, без комментариев.

Стоит ли после такого представления учёным-филологом дневников Вишневского обращаться к данному документу истории литературы? Вопрос,

кажется, риторический. Мне очень понятно благородное желание исследователя объяснить сложность и драматизм ситуации, в которой оказался главный герой её книги о “судьбе советского критика” Анатолий Тарасенков, однако зачем для этой цели упрощать и примитивизировать фигуру Вишневского, опускаясь до прямых фальсификаций его биографии? Если мы так радеем за полноту исторического знания о литературной эпохе, то и позицию Вишневского, кажется, необходимо представить без передёргивания и искажения?

Горделивое и пренебрежительное отношение к историческому документу жестоко мстит, прежде всего, нам. Иногда это проявляется в таких “мелочах”, как ошибочное прочтение текста, который мы впервые вводим в научный оборот и на который затем ссылаются другие исследователи. Так произошло с записью о Б. Пастернаке из дневника Вишневского от 30 августа 1946 года, впервые опубликованной в книге Н. Громовой в следующей версии: “Копается в предках, пишет прозу...”<sup>3</sup> и в таком виде уже вошедшей в книгу “документальных” свидетельств о жизни поэта<sup>4</sup>. На самом деле, в дневнике Вишневского нет этой по-абсурдистски жуткой, а по сути — “клеветнической” детали, а есть вполне реалистическая деталь о жизни Пастернака в Переделкино — она отмечена всеми биографами поэта: “Копается в грядах...”<sup>5</sup> Разница, как мы видим, значительная.

Слава богу, что дневники Вишневского я стала читать до знакомства с книгой современного популярного исследователя, а то ведь и правда могла бы довериться её выводам и приведённым цитатам.

Оторваться от чтения дневников, признаюсь, я не могла долго. Рождались и вопросы. Прежде всего, к сути нашей профессии, к нашему отношению к историческим документам советской эпохи, к нашему праву судить человека, масштаб которого значительно превосходит наш скромный статус в истории нашей страны и её культуры.

Сошлюсь на воспоминания о Вишневском Виктора Некрасова, автора классической повести “В окопах Сталинграда”, впервые опубликованной в журнале “Знамя” под названием “Сталинград”, когда журнал возглавлял Вишневский: “...для меня он остался первым, кто дал мне “путёвку в жизнь”, дал от души, искренне. Такое не забывается”<sup>6</sup>. Дневник Вишневского представляет уникальные материалы и к истории публикации повести Некрасова, и в целом к теме Сталинграда и Сталинградской битвы, к которой писатель не раз возвращался в послевоенные годы.

К сожалению, мимо Вишневского мы прошли в год 100-летия начала Первой мировой войны. А ведь Вишневский был участником той войны: мальчиком сбежал из гимназии на фронт, был контужен, заслужил высшую награду — Георгиевский крест. И дневник, кстати, начал вести в эти годы и вёл до конца жизни. Возможно, в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне публикации о Вишневском ещё даст журнал “Знамя”. Вишневский был не просто одним из постоянных авторов журнала, он был его создателем, а затем редактором. История журнала, как и история оборонной секции Союза писателей, ещё не написана. А придётся её когда-то написать...

Выборочно дневник Вс. Вишневского военных лет публиковался в советские годы в составе Собрания сочинений писателя<sup>7</sup> и отдельными изданиями<sup>8</sup>; публиковались так, как тогда было принято, с большими изъятиями и подцензурной правкой, а потому всё “мясо” дневников — реалистические зарисовки жизни блокадного Ленинграда и послевоенной Москвы, неканонические размышления о войне, подробные записи заседаний Правления Союза писателей 1946–1950 годов, посещения ЦК партии, портреты современников, бытовавшие анекдоты и литературные сплетни, притчи и были, язвительные характеристики литературной жизни, размышления над прочитанными произведениями классической литературы, горестные эссе о современной литературе и о самом себе — всё это просто не могло быть опубликовано в советское время.

Первым к хранящимся в РГАЛИ “потаённым” дневникам Вишневского и в целом к богатейшему фонду писателя обратился историк Виктор Сергеевич Хелемендик, когда работал над биографией писателя для серии “Жизнь замечательных людей”. Его прекрасно документированная книга выдержала два издания<sup>9</sup>, а затем была практически забыта. Хорошо, что книга написана историком.

Редким исключением в потоке современных язвительных характеристик Вишневского смотрится статья петербургских историков, открывших в днев-

никах Вишневого 1930-х годов ценнейший источник для исследования биографии и творчества С. Эйзенштейна и не без удивления отметивших, что несмотря на то, что “в массовом сознании наших современников фигуры этих двух людей – С. М. Эйзенштейна (1898–1948) и Вс. В. Вишневого (1900–1951) – представляются диаметрально противоположными”<sup>10</sup>, в реальности всё обстояло значительно сложнее: столь внешне непохожих людей, оказывается, связывала не только многолетняя дружба, но и “в творчестве у них имелись точки соприкосновения”, а поддержка Вишневым Эйзенштейна в период его работы над фильмом “Александр Невский” (1937 – начало 1939) имела судьбоносный характер для возвращения режиссёра к работе в кинематографе.

Стоит признать, что в исследованиях советской эпохи историки больше, чем филологи, ценят документальные источники, проводят перепроверку информации, а потому и к дневнику Вишневого они подошли как учёные, а не как критики советского режима. В филологическом департаменте продолжает, к сожалению, торжествовать “концептуализм”, закрепляющий утвердившиеся в последние десятилетия именно “массовые” представления о советской литературной эпохе.

Дневники Вишневого – это более 50 общих тетрадей, блокнотов, папок с листами. Это дневники писателя, активного участника литературной жизни 1930–1940-х годов и одновременно профессионального военного, с подневными записями событий литературной и политической жизни 1930–1940-х годов, потаёнными размышлениями о писательстве и советской литературе и бесценными для военных историков документами и записями. Научное освоение дневников Вишневого нам ещё предстоит, и, думается, когда-нибудь они будут подготовлены к печати. Без военных историков здесь не обойтись, а для самих историков дневники Вишневого являются хранилищем бесценного источниковедческого материала... Работа по научной подготовке дневников Вишневого – это трудоёмкий проект, будет ли он осуществлён и когда – об этом можно только гадать.

Прекрасно понимая, что это дело далёкого будущего, мы попытаемся реабилитировать дневник Вишневого единственно возможным способом – рассказом об этом документе и знакомством с некоторыми его страницами.

Начнём с того, что всё-таки не будем упрощать биографию и литературную личность Всеволода Вишневого. Графоманом Вишевский не был, можно сказать, по определению: не так много он написал. И прожил он недолго, умер на 51-м году жизни, жизни отнюдь не советского вельможи. Среди советских писателей он был едва ли не единственным профессиональным военным: подростком прошёл Первую мировую войну, затем – гражданскую: Волжская военная флотилия, корабль “Ваня Коммунист”, пулемётчик морского десантного отряда; Первая конная армия, красноармеец бронепоезда “Грозный”, командир отряда моряков; старший моторных катеров в Новороссийском военном порту; Черноморский флот, служба на истребителях “МИ-18” и “Беспокойный”; Балтийский флот... С 1924 года – Военно-морская академия РККА, плавания, учёба... Он числился в резерве начсостава РККА, разработал для Военно-морской академии курсы и пособия по истории английского, немецкого и финского флотов (владел немецким, английским и французским языками). В годы финской и Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, все дни блокады провёл в осаждённом Ленинграде...

Военная биография бросает свой особый свет и на литературную судьбу Вишневого и во многом её определяет. В литературной борьбе рубежа 20–30-х годов он занимал радикально левую позицию в пролетарском движении и входил в группу “Литфронт”; был одним из создателей ЛОКАФа (литературное объединение Красной армии и флота) и оборонной секции Союза писателей.

За консультациями по эпохе гражданской войны к Вишневному обращались многие его современники, в том числе Ал. Толстой, когда писал 2-ю книгу романа “Хождение по мукам”. Запись в дневнике Вишневого от 1 июня 1928 года: “Я дал до 20 поправок. Толстой – способный малый. Этот эмигрант, “перелёт”, волнующе пишет о наших делах, о 1918... Мне не верится, однако, в его искренность. Как странно – Ал. Толстой живописует моряков, от которых бежал когда-то...”. По-своему он читал и “Конармию” И. Бабеля, читал как рядовой пулемётчик Первой конной армии, и в его высказывании,

как и в отношении к Ал. Толстому, была своя правда: "...односторонне, искривленно показал нас, будённовцев <...> Несчастье Бабеля в том, что он не боец. Он был изумлён, испуган, когда попал к нам, и это странно-болезненное впечатление интеллигента отразилось в его "Конармии".

Вишневский буквально ворвался в литературу и столичную театральную жизнь рубежа 20-30-х годов: "Первая Конная" (1929), "Последний, решительный" (1930), "На Западе бой" (1931) "Оптимистическая трагедия" (1933). Конечно, он оказался в лагере новаторов драматургии и театра. Его поддерживают левовцы и Маяковский, его пьесы ставят Мейерхольд и Таиров, он празднует победу над Афиногеновым, громит традиционный "мелкобуржуазный" театр Булгакова, мечтает в творчестве сразиться с ним и написать пьесу "Анти-Бег"... После ликвидации РАППа Вишневского избирают заместителем председателя Всероссийского общества советских драматургов, он входит в оргкомитет по подготовке писательского съезда, в составе группы писателей встречается со Сталиным на даче Горького; выступает с пафосной речью на съезде... Все эти события фиксируются в дневнике. И дневник же открывает другого Вишневского – с вопросами к своему блистательному дебюту и сомнениями.

Запись от **26 октября 1932 года**, после вечера у Горького:

"Задумываюсь. Как-то "итожу" три года работы. Приходят благословенное недоверие и неудовлетворение. – Слушаю, читаю, много, разного – углубляюсь: думаю, "стоит ли вообще писать?"

Смертное желание постичь сущность – бесполезное желание.

Тогда зачем?"

Запись от **26 января 1933 года** о дискуссии по докладу Андрея Белого о постановке МХАТом "Мёртвых душ" в инсценировке М. Булгакова:

"Ночь на 27/1 33. Был на дискуссии по докладу Белого. – Перед мастерством, манерой и обликом Белого ужасны эти <1 слово нрзб> Левидовы... – Ермилов был очень корректен, но непоправимо "политграмотен". Метод не тот! Сухо... Белый разбил и покорила аудиторию сиянием, умом, возбуждённостью..."<sup>11</sup>

Запись от **11 февраля 1933 года**, после встречи с И. М. Гронским в Оргкомитете:

"Мы неплохо понимаем общественное движение, законы развития общества, говорим, что..."

Я гляжу и думаю: а понимаем ли себя... знаем ли процессы внутренние (тайны физиологии и психологии) – откуда же претензии?

Целое – общества?!!"

Запись от **16 марта 1933 года**, после очередной дискуссии:

"...литературная суета. – Со всех сторон комбинации <...>.

Задумываюсь всё сильнее: как писать? – Массы требуют простоты. Какой? Шолохов и Новиков-Прибой. Но это не литература новой формы. – Идти дальше <...>.

Давление на новаторов сильно <...>.

О "левых": Мейерхольд третий год без театра; Охлопков сжат кризисом: касса против его эксперимента; Эйзенштейн связан; Сельвинский плавает (Арктика), Татлин заглох; Тышлер изгоняется с выставок..."

Запись от **1 августа 1933 года**: "В Орг. Комитете ко мне подошёл Клычков. Пожал руку: "Прочёл" Оптимистическую трагедию", позвольте пожать руку – это настоящее".

Запись от **5 марта 1934 года**: "Состояние духа смутное. Сосредоточенности нет, хаос книг, людей, сторонних вторжений".

Послесъездовская запись от **4 сентября 1934 года**: "Съезд кончился. 100 мёртвых тел с банкета. – Отрезвляющая речь Горького на следующий день – о близости войны. – Тишина в зале Орг. Комитета.

Война в колею работы!"

Запись от **7 августа 1935 года**: "Проверяю свой путь... – Думаю, в сущности, откуда взялась "Первая Конная" – при тогдашнем полном незнании театра, его ремесла и пр. Из нутра – подлинного..."

В "Последнем решительном" – масса смелости, внутреннее братанье с Маяковским, ибо мой пролог развития теа-пародии из "Бани" – я это знаю... – Когда писал, чувствовал это... – Затем там сложная прямота, грубость. О. Мандельштам хорошо тогда сказал: "музыкальная вещь, много злобы..."

“На Западе бой” – недоносок, большое дитя, искалеченное... А что-то проблемное, кажется, было... – Лучшее: чтение на даче у Мейерхольда, в лесу: Мейерхольд, Райх, С. К.<sup>12</sup>, Олеша – я читаю... (авг<уст>, лето 1931 г<ода>) – В ударе... Мейерхольд: “Ты, когда читал, был прямо красив...” – Райх: “Я поверила в вас как в драматурга”. – Олеша – не помню, что говорил... Он не откровенен, хотя пьяный может сказать “всё”.

Литературные записи в дневнике перемежаются отдельными страницами – “дневниками плаваний”, когда Вишневский уезжал из столицы в Севастополь или на родную ему Балтику и недели и месяцы проводил на военных учениях. Из смуты литературной жизни он выходит в 1933 году к большому замыслу автобиографической книги “Война”, делает наброски и записи к событиям Первой мировой войны, участником которой он был.

**Записи от 19 июля 1934 года:**

“Близится 20-летие войны <...>. “Вступление”: Клянусь в этой необычайной книге говорить правду. – Я родился в Санкт-Петербурге. На Васильевском острове, на берегу моря. Предки мои – запорожские казаки Полтавского куреня, рубили турок, татар, ляхов... Один погиб у... У прадеда, участника Отечественной войны 1812 г<ода> было 12 сыновей...”;

“Балтика взрастила меня – её вода, её соль, её... скупое солнце”;

“К 16/17 – о скрытом поражестве буржуазии. – Готовы быть погребёнными под развалинами своих домов, заложить жён и детей... – Сволочь, которая втайне рассуждает с предельной логикой”.

**Записи от 1 и 2 августа 1934 года с пометой “К “Войне”:**

“Двадцатилетие войны. – Весь день какие-то тревожные воспоминания, грусть... Июль 1914 г<ода> <...>. Как встречали этот день люди...”

Избегать обличительного, кислого “революционного” тона...”

Это должна была быть прозаическая книга. На съезде Вишневский заявил, что он выступает “как новый прозаик СССР”, потому что приступил к новой во всех отношениях работе: “делает паузу в области драматургии”, пишет “настоящую прозу, которую ...вынес из двух войн”,<sup>13</sup> и это будет ещё никем не написанная книга о Красной армии и Красном флоте. В дневнике это звучало не столь пафосно.

**Запись от декабря 1934 года:**

“Тянет к прозе. И в то же время: она же жизнь, душа, тайны!.. Нести всё это на показ? – Можно ли, нужно ли? – Как, в сущности, странно и трудно в литературе”.

Замысел книги “Война”, как он мыслился в 1933 году, не будет осуществлен. Этому много причин, в том числе и мучительные вопросы, оставшиеся без ответа, как в приведённой выше записи. К этим вопросам о правде жизни и правде в искусстве он будет постоянно возвращаться на страницах дневника, в беседе с самим собой. А главное, приближалась новая мировая война, и она захватила всё существо Вишневского.

С приходом Гитлера к власти в Германии (1933) тема грядущей большой войны становится доминирующей и определяющей всё и в творчестве, и в жизни писателя.

На войну Вишневский смотрел как военный: анализировал сводки зарубежных газет и радио, погружался в изучение международной обстановки, часто посещал войска и встречался с военными, занимался формированием оборонной секции Союза писателей.

**Запись от 4 ноября 1935 года:** “Ночь на 5/XI-35. Год, вероятно, последний, предпоследний перед войной”.

**Запись от 5 декабря 1935 года:** “Началась война Италии с Абиссинией... Война будет жесточайшей... Очертания видны (яснее, чем мы видели в мировую войну, в июле 1914). – Сколько будет раздавлено, уничтожено людей!.. – Какие новые явления породит война?”

**Запись от 15 сентября 1936 года:** “Гитлер в припадке амока... – Это, в сущности, объявление войны (дни в Нюрнберге) нам... Вчера по радио – гитлеровская речь к молодым солдатам... – Я вождь, – закрыв глаза в пучину, – я поведаю вас... – В России 20–30 млн безработных, голод... Мы, немцы, призваны дать русским культуру etc. – Маньяк.

Какая колоссальная будет война! – Польша будет размолота в пыль... – Я думаю: мы поднимем Францию... – Гитлеризм будет стёрт радикально. Потери Европы будут больше, чем в 1914–1918 – ряд городов будет уничтожен...”

Записи от **7 ноября 1936 года**, среди набросков к сценарию “Мы, русские люди”:

“М<ожет> б<ыть>, это последнее моё художественное произведение? Война обрушивается, и жизнь пойдёт иначе. – Потрясающего напряжения будет война. Тяжёлые жертвы. 1-я Мировая война: 10 млн убитых. Эта возьмет 30–50! Напряжённейше думаю о войне, истории России, СССР...”

Всё существо обострено: гляжу вдаль –

1) трагическая война, Европа;

2) видимо, новый цикл истории, жизни... – Какой она будет?

Мы сейчас вкладываем огромные материальные ценности, силы в оборону... – Тень войны над жизнью...”

Запись от **8 декабря 1936 года**: “О себе. – Неужели судьба моя: вечно война, о войне – о крови, уничтожении живого, о смерти... – Или 22 года военной службы – давление войн – так безнадежно сильны в моём творчестве?..

Прорыв к иному есть во мне... Наиболее сильно в прозе, в главах романа (зима 34–35 г<одов>), в мыслях, в мечте... – Думаю о лирической теме – о современной жизни... Но чудовищная инерция старого сильна; ещё не всё я выговорил за 2 десятилетия... Война. – Горько.

Моё отношение к войне менялось и меняется. – Я оглянулся как-то: а где же моя радость жизни, мой отдых? – Отдельные паузы.

Я вдруг (смутно нащупывал последние недели) нашёл главный мотив: “Мы, русский народ” – не война, не смерть, – а жизнь, лето, труд, любовь... – И как проклятье – всё время – враждебные системы (царизм, германский милитаризм и пр.) – помехи.

Раненый солдат: трава цвести будет... хлеба... – а тут бьют... за что...

Надо дать мощно весну 1917 г<ода> –

1 мая... Бал... праздник!

Лето, травы, хлеба... контрасты 18 июня!”

На полях страницы – поздняя запись: “Эпоха войн и революций... – Ещё долго до отдыха... – Да и отдохнет ли человек вообще? Он вечно буйн, искатель...”

В 1937-м он был в Испании: “Моя 3-я война” (запись от **31 мая 1937 года**), и дневник сохранил трагические образы Испании и образы новой войны.

“Думаю о войне” (запись от **25 сентября 1938 года**) – лейтмотив записей 1937–1941 годов. Он следит по всем газетам за “свиданием 4-х”, за тем, как готовится “мюнхенский сговор” – соглашение между гитлеровской Германией, Англией, Францией и Италией о передаче Чехословакией Германии Судетской области (подписано 30 сентября 1938 года).

Запись от **25 сентября 1938 года**: “Читал газеты. Дело к войне”.

Запись от **26 сентября 1938 года**: “Пакт 4-х”?. Старая Европа хочет всё уладить, сторговаться... – Чехи опять уступят (за гарантии и пр.). Это будет огромной победой Германии... Тогда новый фазис: через год-два центральный Европейский блок пойдёт на СССР, а Европа будет *умывать руки*.

Что дало свидание “4-х”?. Оно идёт сегодня днём... – Мир в лихорадочном ожидании... Игра на нервах, буржуазные спекуляции – борьба чувства и расчёта...”

Запись от **30 сентября 1938 года**: “Утро 30 сентября. – Солнечно, тихо... Сосны, голубое небо...”

За завтраком: Мюнхенское соглашение... То, чего ждали, не хотели – совершилось. Мировая обстановка радикально изменилась. Демократии отступают. <1 слово нрзб> вошли в сделку с Гитлером. – Чехо-Словакию заставили капитулировать. Она будет окружным придатком Германского блока <...>. СССР отгиснут от переговоров. – Дело повернулось против нас... – Это шаг к большой войне фашистского блока против СССР. – Германия, Польша, Венгрия, Италия, Прибалты, Финляндия, Румыния + Япония и др.

<...> Впереди, через 1–2 года, – большая война.

Что дало свидание “4-х”?

Запись от **16 октября 1938 года**: “Непрерывное напряжение мысли о новой фазе истории, борьбы. – Франция в кризисе. Реакция наступает... – Как сложатся наши новые связи?..

Фашизм активизируется. – Немецкая мстительность, расчётливость, методичность в действии... – “Демократии” эволюционируют, отступают... – СССР стоит молча, готовясь.

Япония торопится вывести Китай из строя...  
Надвигаются какие-то огромные события... — Какое-то варево бурлит в мировой колбе...

Читаю Золя... — Старик всё-таки романтик...”

Записи от **30 октября 1938 года**: “Хочется записать несколько мыслей. Год был тяжёлый <...>. Поездки, размышления, невероятное напряжение нервов и мыслей в связи с близостью войны. В сотый раз продумываешь прожитую жизнь, всё сделанное, наши исторические пути, усилия, цели. Иногда мысль концентрируется только на политике, на всяких пактах, договорах... Потом вдруг чувства, мысли все опрокидываются: ищи глубже, в толще народа... А народ живёт своей вечной жизнью, выше дипломатических пактов и прочей стряпни, выше комбинаций европейских “четвёрок”, которые, кстати, нас, СССР, не знают и вряд ли скоро узнают... Россия шагает своим путём, копит свои новые силы, мощь которых будет испытана лишь в новой большой войне. Она превзойдёт всё, известное доселе, по напряжению, по ярости.

А народ живёт... На улицах пахнет неважной краской, олифой. Дворники и маляры прифасонивают дома, коричнево-рыжие ворота, ставни, подоконники, зелёные заборы. Как-то грязновато, летом на город осела уйма пыли, везде вывороченные пласты земли, стройки, навалы песка, строительного мусора, асфальта, досок, щепок. Москва сбрасывает старые шкуры. — А как действительно убоги все эти косые, кривые переулки. Жилищная теснота неимоверна. Но наши потребности скромны. Приспособляемость колоссальна. Пережить 1914–17–21 и так подняться, так развиться — это привилегия России, СССР. Нас не снабжали, нас не баловали: нас душили, травили, чернили, изводили, как могли... А народ отряхивался, утирался, сшибая кого надо, порой и не поворачивая к ним головы. — На улицах серо, пасмурно, толпы, выходной день. Базарная суета у палаток, лавок, всё расхватывают, покупают немудрёную галантерею, пищевые запасы. В парикмахерских спёртый дух, жжёные волосы, очереди, конечно, везде родимые очереди, давка, здоровенные девчонки-парикмахерши, наводящие комсомолкам, таким же, как они сами, последние парижские причёски. В витринах сало, колбасы, копчения, консервы, игрушки, кисти, бумага — всё это в больших дозах, навалом.

Костры на набережной Яузы; ползая на коленях, шлифуют рабочие горячий асфальт, подрезают кварталы, мостят, штопают тут же свои огрехи: провалы мостовых у дома Правительства, заборчиками огораживают руины. Мальчишка, балуясь, идёт по свежему тротуару: “Петя, не порти, это называется вредительство”... Мальчишки лезят через заборы, с криками бегут за коровой и тёлкой, которых куда-то ведут по набережной. У ворот стоят в выходных пальто парни и девушки...

Проходят в только что, к параду, выданных шинелях, фуражках и поясах с блестящими бляхами три красноармейца. От них пахнет новым шинельным сукном, и они сами себе любят.

Толпа в непрерывном движении...

По сути своей разве все западные и прочие комбинации смогут сшибить, остановить жизнь, движение этого народа? Очень он самобытен, молод, силен, уверен в себе. Сейчас это факт — свои идеи он сделал международным, мировым фактором. Идеи России взбаламутили океаны!”

В мае-июне 1938 года Вишневский совершает поездку по маршруту героев своей “Первой Конной”: Ростов-на-Дону—Донбасс—Иловайская—Днепропетровск—Бердичев—Житомир—Киев... Встречи, новые замыслы... Война не оставляет его, но прорывается и другое: “Неужели мне суждено писать только о войне?..”; “Я — воин по натуре, и лишь в посл<едний> период (“с годами”) стал понимать ценность тишины, труда, покоя, бытия мирного: — В дороге именно: мир” (записи от **21 мая 1938 года**).

Он провёл не одну неделю в войсках Красной армии во время вооружённого конфликта на советско-японской границе, в районе озера Хасан осенью 1938 года, затем четыре месяца — на учениях Дальневосточного военного округа в 1939-м, на советско-финской войне (1939–1940)... В дневнике — бесценный для историков материал: хроника, записи разговоров с командирами и красноармейцами, собственные оценки боеспособности и технической оснащённости японской, финской и советской армий, армейские анекдоты, наброски к замыслу книги о финской войне... И резюме: “Нам надо готовиться спешно” (запись от **13 мая 1940 года**) — готовиться к войне.

Он чувствовал себя среди военных, как в родимом доме, любил встречаться с ними, часто выступал перед красноармейцами, радовался их письмам и особенно письмам моряков. Это была его среда: “Моё природное: Питер, флот, армия...” (запись от **2 ноября 1937 года**). По получении писем от моряков: “Военная душа бродит по Европе <...>. Это люди – до гроба. Ни мне от них ничего практического не надо, ни им... Это связь душ, это молодость” (запись от **18 марта 1941 года**).

Приближалась большая война, и размышления о грядущей войне на страницах дневника переплетаются, точнее – вплетаются, во многом их определяя, в мучительные мысли о современной культуре и литературе, об отношениях в литературной среде, о собственном литературном пути. Горькие сетования, что он не успевает написать о главном, о пережитом им лично, в котором отразилась судьба целого поколения.

Литературные отношения Вишневого – тема сложная и отдельная. Он сам не раз признавался себе на страницах дневника, что в писательской среде, в отличие от военной, он ощущает себя чужеродным элементом: “Вспомнил вообще писательский мир и мирок – мне в нём трудно, необъяснимые боли в душе” (запись от **7 мая 1940 года**).

Дневник открывает уникальные материалы к изучению страстей литературной жизни, записанных, подчеркнём, страстным человеком.

Вот лишь один пример – запись от **25 октября 1937 года**:

“Весь последний период – глубокая необходимость продумать жизнь, разобратся в процессах общественных, социальных, в личном пути, в творчестве своём и других, рассмотреть итоги поездок на Запад.

Вот прожито двадцать лет в революции. Сделано много, многое видел, многое познал. В литературу вошёл лет 29-30...

Были тяжёлые удары критики; удар от Горького, который как-то пустяково замазывал свой поступок во время съезда; чувствую я ныне, в 37 г<оду>, что какие-то психологические, чисто писательские выпадать есть, будут со стороны других заметных писателей. Пример: Шолохов в “Лит<ературной> газете” недавно, не назвав фамилии: “С первых дней он встал на ходулю... Пишет ходульно, говорит ходульно”... У Шолохова “исконный” прозаический стиль. Где и как он дрался, мы не знаем. Кажется, вообще не дрался, молод. Поучать не следовало бы ему.

Мой стиль – моя жизнь. Есть романтика, героика... Так жизнь мне дала. Это, видимо, органика моя... Ну, чёрт с ним! В истории литературы самые зверские взаимоотрицания – у писателей явление постоянное. Толстой о Достоевском и Горьком, см. 1910 г<од> – Его дневники о Шекспире. – Горький о всей нашей передовой группе. Полосовал подряд, не без “советов” сбоку. А нам, грешным, отрицать взаимно достоинство, манеры, стили и пр. и сам Бог, очевидно, велит...

Время идёт. Годы идут. Молодость проходит. Иногда печаль страшная охватывает: уже мне 37 лет. А сколько ещё надо сделать, написать!..

Большой критики, глубокой я имел мало. Критику не уважаю нынешнюю, мелкие, плоские выкормлёнши из лит<ературных> газет, редакций, институтов. Учились по Переверзеву, Авербаху и пр. Нет больших душ, умов. Нет боевых, смелых, литературно-сильных критиков.

Сейчас молчат трусливо. О литературе, о писателях писать боятся. А вдруг... Прогнозов не дают. Истории советской литературы не написали!.. Позорная работа”.

Этот страстный монолог, перерастающий в диалог не только с Шолоховым, но и самим собой, рождён статьёй московского критика Якова Эйдельмана “В гостях у Михаила Шолохова”, опубликованной 20 октября в “Литературной газете”. 15 октября печаталась первая корреспонденция Эйдельмана из Вёшенской. В обеих статьях московский критик приводит высказывания Шолохова о его современниках и литературной жизни. В первой корреспонденции (она, как указано, передана по телефону) рассказывается об обсуждении с Шолоховым политически актуальной для 1937 года темы изображения врага в советском искусстве, названы авторы и произведения (Вирта – “Одиночество”, Павленко – “На Востоке”, Довженко – фильм “Аэроград”), о которых весьма критически высказался писатель. Визировал ли критик свой материал у Шолохова, то нам не известно. Неизвестно и то, как отнёсся Шолохов к первой публикации. Можно лишь высказывать свои предположения.



Во второй статье “В гостях у Михаила Шолохова” названо лишь одно имя – Ю. Олеша, – о статье которого Шолохов высказался весьма дипломатично. Все другие высказывания Шолохова – резкие и страстные, однако безымянные:

“Два дня нашего общения достаточно убедительно показали, что у него нет слов снисхождения для литераторов, живущих кабинетной жизнью, для мещанских индивидуалистов, для тех, кто видит, в первую очередь, себя в революции, а не её цели, её идеалы. Шолохов внимательнейшим образом следит за литературной жизнью столицы, за творчеством товарищей по цеху, личными качествами и предрасположениями. Иногда диву даёшься: откуда у него такая подробная, правильная информация – как будто он и не выходил за пределы этой среды.

При этом в своих оценках и определениях писатель не знает “полутонов” <...>. Он с нескрываемым презрением говорит о писателях, говорящих друг другу льстивые слова из боязни “нажить врагов”. Ненавидны Шолохову люди, “расчищающие локтями” дорогу к славе, падкие на рекламу, на демагогические выкрики, на митинговую истерию, – словом, на все средства, могущие ещё раз напомнить, что такой-то существует.

Об одном писателе, особенно злоупотребляющем этими приёмами, Шолохов резко говорит:

– Встал в первые годы революции на ходули – и с тех пор не доверяет своим ногам. Так на ходулях и двигается, ходульно говорит, ходульно пишет.

О другом писателе, молодом, даровитом, но не проявляющем скромности в быту:

– Говорят, что его развращают чрезмерными и преждевременными почестями. Может быть, так оно и есть, но мне кажется, что он слишком уж охотно идёт навстречу этим развращающим влияниям.

Шолохов подкрепляет эти слова убедительными аргументами, ещё раз показывающими степень его информированности.

Зашла речь об одном романисте, весьма нетерпимо относящемся к критическим замечаниям о нём. Услышал бы этот писатель, с каким отвращением говорил Шолохов о комчанстве, о зазнайстве, о дутых знаменитостях...”

Насколько точен критик в пересказе оценок Шолохова – на этот вопрос могла бы ответить только стенографическая запись. Кажется, она была. В этой же статье Эйдельман с горечью сообщает, что организаторы вечеров с выступлениями писателя о Пушкине и Горьком “не догадались организовать запись выступлений Шолохова”. Судя по воспоминаниям сына Якова Наумовича Эйдельмана, известного литературоведа Н. Я. Эйдельмана, отец вёл дневник. В настоящее время известно, что дневник Я. М. Эйдельмана передан его внучкой в Израиль. Значительно больше сегодня мы знаем о самой фигуре критика, написавшего в 1937 году статьи о встречах с Шолоховым, – с нескрываемым восхищением перед писателем, который “служит своему народу”. “Поход” Шолохова против собратьев-писателей в октябре 1937 года можно объяснить, если мы вспомним, чем занимался Шолохов в этот год: с весны по Вёшенскому району идут аресты, 5 и 7 октября он обращается к Сталину с просьбой о приёме его по вёшенскому “делу”, борется за освобождение из-под ареста вёшенцев... С весны зачастили к нему в Вёшенскую гости из Москвы: в июле – руководитель ССП Ставский, в начале октября – корреспонденты “Известий” и “Литературной газеты”.

Интригу высказываний Шолохова о современной литературе составляет анонимность, ведь ни одно писательское имя в статье не названо... Были ли эти имена названы в разговоре с Эйдельманом, или читатели-писатели сами должны были разгадать этот текст и адресатов? Узнал ли Вишневский себя в этом описании, или ему подсказали?... Здесь мы вступаем в область догадок и предположений. Но то, что высказываниями Шолохова были задеты многие из писателей, не вызывает сомнений. Запись в дневнике Вишневского от 25 октября – тому подтверждение. Шолохов, скорее всего, отреагировал на пересказ выступления Вишневского на оборонном совещании, только что опубликованном в “Правде”. Пояснения к этому выступлению мы находим в записи Вишневского от 16 октября:

“Масса дел. Разбираю архив свой, книги... Хочется писать, а время уходит на оргдела, статейки, заседания, речи (оборонные; выборные...).

Мыслей масса... О современном положении страны, о близкой войне. Враги активизируются. Вылазки...

Вчера в речи дал сжатую характеристику: исторический момент – страна, история, традиции, народ – против врагов <...>. В “Правде” развил программу (на оборонном совещании)”.

Шолоховские оценки не только обидели Вишневского, они, как свидетельствует запись, вновь заставили его вернуться к собственной литературной судьбе, к вопросам собственного “стиля” и вечной теме: борьбе не только в политическом, но и литературном её измерении.

Записи весны и осени 1940 года – наброски к портрету своего поколения, они очень разные: лирические, жёсткие, беспощадные в своей откровенности как в оценках себя, так и современников. Лишь напомним, что 1940 год насыщен значимыми событиями литературной жизни: 4 января принимается партийное постановление “Об увековечении памяти В. В. Маяковского”; юбилей Маяковского вернул из забвения имена некоторых именитых современников поэта. Печатается “неизданный” В. Хлебников, переписка А. Блока и А. Белого; в малой серии “Библиотека поэта” выходят тома В. Хлебникова, А. Белого и С. Есенина; в головном издательстве Союза писателей – том лирики А. Ахматовой. В феврале и марте “Новый мир” печатает последние главы романа “Тихий Дон”, с марта в газетах и журналах открывается дискуссия о романе, завершения которого ждал не только Союз писателей, но и вся страна. Главные вопросы к Шолохову были связаны не только с образом Григория Мелехова, но и с изображением коммуниста Мишки Кошевого, написанного, как утверждал руководитель секции критики ССП В. Кирпотин, схематично и с “предвзятыми намерениями”... 5 февраля “Литературная газета” сообщает о государственной премии: “Сталинская премия! Как много нужно работать, чтоб получить на неё право!” Это сообщение породило нешуточные страсти в литературных кругах, развернулась жестокая литературная борьба вокруг списка претендентов... О смерти М. Булгакова (10 марта) – лаконичное безымянное сообщение в “Литературной газете”... В сентябре в Союзе писателей открывается представительное совещание критиков, с которого началась широкомасштабная кампания проработки писателей, допустивших грубые ошибки; она завершилась лишь к концу года принятием целого ряда партийных “именных” постановлений (о книге Ахматовой, пьесах В. Катаева, Л. Леонова) ... Гул московских литературных и мировых событий этого года слышен и в записях дневника Вишневского. События разных масштабов сталкиваются на одной странице, мощно оттеняя друг друга:

**14 апреля 1940 года:** “Был на закладке памятника Маяковскому... Во дворе Союза толпа, здороваюсь с отдельными людьми. Жму руку Лиле Брик. Встретил Соболева, Новикова-Прибоя. Он: “Слышал, вводят звания для писателей”. Старик, очевидно, нужно быть заслуженным писателем. Пусть будет. Толкучка в секретариате. Тут же с острым своим носом Павленко. Националы что-то “докладывают” Фадееву. Атмосфера пленумов... На ходу здороваюсь с Перцовым, он что-то говорит о моих письмах с фронта: “Это потрясающе”, – и пр. Просят рассказать о войне. Тут же Барто. Толчая, напряжённая человеческая масса, берут билеты, куда-то торопятся... На несколько минут нервы взвинтились.

Шагаем по Садовой нестройной колонной. Милиция... Один с двумя ромбами. “Мильтон с двумя ромбами”, – и Финк делает вид, что падает в обморок. “Что же такой мильтон может наделать – остановить движение сразу по всей Москве...”

Собралось, в общем, немного. Весенняя грязь. Здание бывшего театра Мейерхольда в стиле “Метро”. Тут когда-то шёл “Клоп”, “Баня”... Тут весной 1931 шёл мой спектакль “Последний решительный”, были драки с РАПповцами... В толпе – маленький, в очках, Кирсанов. Он чего-то насуплен. Видимо, обижен, что не в центре “наследников Маяковского”. Асеев... Он сделал профессией мемуары свои о Маяковском.

Болтовня, ребятишки. Репортёры, газетчики. Казённый митинг. Проиграл оркестр. Открыли постамент на месте будущего памятника. Толпа нажала, смотрят... За душу ничего не берёт... Где-то в толпе – Лиля Брик... Стоит сестра Маяковского, похожа на него, челюсть... Зеваки... Даже не было объявлено о конце митинга или открытия. Стали расходиться...

Днём слушал радио. Немцы сообщают, что продвигаются и действуют планомерно. Возводят тяжёлые батареи и пр. Потопили несколько английских кораблей.

Англичане блокируют Нарвик. Готовят, видимо, удар флота и десант”.

**16 апреля 1940 года:** “Острота европ<ейских> дел как-то притупилась для меня. Всё, что мог, перечитал, объелся их радиопередачами, всеми этими противоречивыми, многоязычными попреками, упрёками, проклятиями, обличениями. Обалдевший мир...”

Иногда как-то устало рассматриваю всё пережитое. Если б спокойно всё это изложить – какая была бы книга, какой документ эпохи! Вот так с детства, год за годом... Через нас прошли абсолютно противоречивые мысли, настроения, целые мировоззрения. Мы были когда-то русскими шовинистами, субъективистами, мы были интеллигентами, патриотами (добровольцы 14 года), либералами, собственниками в душе... Я помню, как меня потрясла лихорадка: где добыть денег... Всё это было в пору мальчишества, и поэтому тем сильнее была эта страсть (мысли о выигрышах, находках, блуждающий по тротуарам взгляд – нет ли там оброненных кем-либо богатств, – о смелых и поражающих похищениях, о ловких коммерческих оборотах, природы которых я так и не постиг, а когда пробовал что-то продать, то неумело: то подмоченный морской сахар, то ещё что-то в этом роде) ... Мы были религиозны, в нас сидела мораль старого мира, некая помесь русских прописей, немецкого поведения, французской буржуазности; всё это впитывалось в школе, в среде, из книг... Мы с детства знали Запад, книги, приходившие кораблями, фильмы, отблески Парижа. Мы увидели на войне 1914 года грязь и мерзость. Мы перемучились, были на шаг от самоубийства. Были одиноко, угрюмо. Мы были и стары, и молоды. Мы были затем революционерами, партизанами, громили весь мир, в нас бурлила кровь почти анархистов. Мы были затем идеалистами-коммунистами. Мы отрицали всё “порядочное”, не брились, ходили почти босые, увешанные оружием, болели, несли на себе гноящиеся раны, полагали, что мы мессии, пророки, и мир завтра пойдёт за нами... Так мы и доходили до краёв Европы... Так доходили даже почти до Индии. Медленно постигали мы новое учение. Оно открылось нам уже после страшного отката, после НЭПа, когда многие разбрелись. Мы были угрюмыми ветеранами, а иные стали вновь обывательской мелочью, в них воскресло старое... Мы были всё-таки верны своей молодости: гражданской войне, порыву. Мы превращались затем незаметно для себя в новый государственный актив, в новый кадр. Мы учились, поглощали тысячи книг, снова и снова всё переосмысливая, открывая в себе новые, нами не подозревавшиеся силы. Эволюция шла непрерывно. Менялись ощущения, клетки организма, мысли, обстановка. Число фаз почти не поддаётся учёту. Двадцатые годы не похожи на середину тридцатых: накопления, внешнее благополучие, “свет”. Потом 1936–37–38 – громовые шквалы, – и лицо революции снова сверкает, разят врагов, кругом всё притихает, масса трусов, залпы снарядов; кулак наш опускается на головы врагов, страна в конвульсиях, в опасности, в муках, и снова побеждает, выправляется!.. И снова дальше – опасности, начало цикла войн, мы идём в эти войны. Сколько друзей в Европе, сколько надежд, будто 17 год, – и опять сражения, муки, испанская трагедия, громы на Дальнем. Мы опять другие, новые, всё больше понимающие, то усталые, то неутомимые. Сколько за эти годы потерь: друзья то убиты, то размётаны, в концлагерях капитализма. Война бродит у самого порога дома. Идёшь опять на смерть, собранный, вне литературы, опять как прежде, но с постаревшей душой... И что ещё впереди, что ещё ворвётся в жизнь, в сознание?.. Какие эволюции совершит наше общество, народ, весь мир?..”

**17 апреля 1940 года:** “Послефронтная передышка у меня продолжается... Читаю французов: Мопассана, Франса. Это – наслаждение – проза осязаемая, изящная. Думаю о своём потерянном для прозы десятилетии... Сажу часами у радиоприёмника и слушаю Европу: то наивные надежды малых стран: “Надо перетерпеть, мир близок”, – то британское рычание или отрывистые рассказы немцев о том, как они брали Данию, то главы из Роллана о Бетховене, то хронику о весеннем севе, о пловцах или ещё о чём-нибудь. Варится варево нашего XX века. Перебираю прожитое. Неужели я делаюсь более вялым, равнодушным?.. Или это усталость?.. Вступаю сам с собой в спор. Но во всяком случае, последние годы – годы умудрения. Конечно, меня все эти литературные споры и люди интересуют всё меньше. События смывают целые пласты спорщиков, и никто этого и не заметит.

Война всё усиливает свой напор. После скрытых подготовительных событий как-то разом, в день-два вдруг обнажаются новые раны, язвы... После Скандинавии заговорили о Голландии и Голландской Индии. США втягиваются в споры всё сильнее. Балканы ждут своей участи... Мы маневрируем, выбирая пути, выигрывая время... Вряд ли останемся в стороне...

Война разрушает привычные формы, творит новые. Азия покрывается сетью дорог. Укрепляется сознание Китая. Что-то бурлит в Индии... Нарождается новый порядок, некая новая система в Европе... Взаимовлияния различных существующих систем налицо. Стороны перенимают друг у друга некие черты – в организации, порой в идеях. Классический мир “демократий”, безусловно, разрушается. Может быть, так и нужно: соединяются огромные коллективы наций, размалывая “феодалное” дробление на мелкие страны. Ещё шаг – останется 4–5 главных систем, ещё шаг – и в новых великих битвах исчезнут две, три, ещё шаг (век, два) – и мир станет универсальной организацией. Претендентов на лидерство немного: СССР, Англия, Германия, США, Япония... Франция и Италия только спутники, дополнительные силы.

Эти трансформации мира потребуют жертв. В 1914–18 г<одах> было убито до 10 миллионов человек. Около 1/2 процента человечества. Это, если глядеть не с гуманитарной, жиденькой точки зрения, ничтожная плата за сдвиги, за прогресс, за уничтожение нескольких империй, за Октябрь, за прояснение сознания у народов.

Допустим, что новая война возьмёт 20–30 миллионов людей, т<о> е<сть> 1–1,5 процента всего человечества, поломают ряд заводов, городов, портов и т. п. Всё это восстанавливается с удивляющей скоростью, всё это обновляется после войн и кризисов – на глазах. Статистика тому свидетельство. Но эта новая война – как бы мы в гуманитарном, “санитарном” и пр. плане ни клеймили её – принесёт опять обновление. Если революция распространится на часть Европы, на Азию, будет превосходно.

Это большой, интегральный счёт... Но как жестоко калечит эта история живые массы людей! Сколько людей вокруг перекалечено уже... Вот вспомнил Илью Эренбурга. Он совсем седой, тощий, большой (кажется, рак). Одинок, в Париже. Враждебном, хотя и близком ему. Почти нет связи с родиной, которая так далека... Испанская трагедия жестоко растоптала иллюзии, весну Эренбурговской второй молодости... Перечитываю присланные им в прошлом году стихи. Это очень мучительные стихи. Мне кажется: не эпитафия ли это?”

**30 апреля 1940 года:** “Думаю о проблемах поэтического жанра, об эпосе. Перечитываю античных писателей, Маркса и Энгельса. Вкапываюсь в вопрос о нашем восприятии мира. Конечно, нам только кажется, что идёт только борьба классов. Идёт и общечеловеческая сложная эволюция, с которой мы вместе катимся куда-то: это механизация, централизация общества, атеизация и пр. Мы хотим добиться решения главных проблем по своему образцу. Сопrotивление мира, старого и до известной степени нового (германского, итальянского) огромно.

Я рад, что опять думаю об искусстве. Последний год был военным. Много я видел, пережил, но творчески работал всё-таки мало. Вчера смотрел “Линию Маннергейма”<sup>14</sup>. Ни одного аплодисмента. Зрители молча, испытующе смотрят на тяжести войны. Натурализм документа предельный... Витает смерть и разрушение... А вырезано всё, что только можно: нет подлых смертей, раненых, нет оборожённых, нет трагизма... И всё же тяжко... Вновь пережил эту тяжёлую зиму, десанты, бои, Карельский перешеек, Муурилу, Биорке-Кокквисто...”

**7 мая 1940 года:** “...Мне хочется писать. Ну, хотя бы для себя. Стимул заработка отсутствует, мы обеспечены, многие писатели, прочно, на годы. Стимул славы, честолюбия... Пожалуй, он как-то временами слабеет. Рассуждения о чистой, смелой литературе. Её мало или нет. Не умеют, не могут, не хотят, не понимают... М<ожет> б<ыть>, сейчас вовсе не до объективного изображения нашей жизни. Она сложна, безмерно трудна, в ней много горького, мучительного. А высшие веления борьбы требуют песен, труб... “Наступание на горло собственной песне” – довольно распространённое явление. Исчезают, растворяются замыслы. Внутренняя корректура неизменно жестока... Люди молчат годами... Просто довольствуются существованием – интересным, насыщенным. И этого им достаточно. Вполне... Мы столько сделали в своей жизни, что хватит на века разбираться историкам, литераторам,

психологам и пр. Пусть разбираются, — если у них будет время и если они сами не наделают дел ещё более острых, решительных, весьма масштабных.

... День солнечный. Окна открыты. Слушаю Париж. Сценки из жизни Моцарта... Живой грандиозный диалог, чеканная речь, немного музыки, в которую вплетены шутки, замечания. Это где-то в салоне в давние времена.

Читаю, меж тем, о Дунайском бассейне. Вспоминаю поездку: Прага, Вена, Бухарест. Вдруг вспомнился солдат из сербской дивизии, который ехал со мной в 1916 г<оду> из Киева, после ранения.

... Думаю: надо писать. Хотя бы новеллы. Новелла о людях, просто о тех, кто кругом. На днях целая горсть бед, горя: визиты людей на дежурстве в Президиуме ССП. Или новелла “Мои похороны”... Вот я был бы убит или умер в Москве: ... Звонки, ССП, согласования, распоряжения, как хоронить, хлопоты с залом, красная материя, какие-то поношенные кадки с цветами, списки караула, оркестр. “Он же был военный... Звоните, что ли, к начальнику гарнизона или кто там”... Вот так и хоронили: и Багрицкого, и Малышкина, и Ильфа, и Макаренко, и Островского. Почему-то осталось всё в памяти точно, с деталями. Машины до кладбища, речи, разговоры, любопытные. Некрологи, подправленные отв<етственными> секретарями и пр., и пр.”

**22 октября 1940 года:** “В последнее время ряд встреч, бесед... Пытаюсь определить: что происходит с художественной интеллигенцией?... Откуда некий кризис в литературе, в искусстве, у архитекторов, в кинематографии и т. п.? — Давление событий последних лет. Война. Неразрешённость всех этих проблем и коллизий в искусстве. Мы оставляем внутри себя самые острые, мучительные вопросы. Сознание того, что положение военное, м<ожет> б<ыть>, осадное. Понимание необходимости работы утилитарной, оборонной. Известная доля нервозности, усталости... Раздражение на людей аппарата, на комитетчиков и пр., которые воистину мелки. Руководить писателями, режиссерами, художниками и пр. все эти храпченки и им подобные не могут. Нет у них ни ума, ни такта, ни смелости, ни опыта, ни знаний. — Сказываются на настроениях и некоторые материальные трудности последних месяцев. У писателей трудно с бумагой, с изданием новых вещей... — Ряд запрещений и т. п., проработки, известная кругость мер пугают интеллигентов. Как там ни говори, это мир людей с особой нервной организацией... Иначе они не были бы художниками, людьми, впитывающими в себя всё окружающее, людьми синтеза и анализа... Закалённые, до конца выдержанные люди не выходят в категории писателей, художников и пр. Пока это так... — Дальше. Отсутствует правильная воспитательная работа... Мы не массовая организация, а методы воспитания — как на предприятиях: обычные массовые. Ни Толстому, ни Шолохову, ни Таирову, ни Дзигану, ни мне не нужны обычные собрания, заседания, где сообщаются сведения из газет. Мы живём информацией более широкой: иностранной прессой, радио, своими знаниями, обобщениями, своим житейским опытом... На собраниях же обычный средний, казённоватый уровень... Здесь одно из противоречий нашей художественной жизни. Мы сознаём, знаем, живём гораздо более умно, остро, интенсивно, чем в общественно-заседательской жизни. О многом не говорят, не хотят, не умеют...”

Я наблюдаю некоторую замкнутость людей, стремление уйти в себя, раз нет рядом помощи в Союзе писателей <...> Нет Горького, и его заменить нечем. Большинство руководителей нашего союза писателей — люди мало или среднекалиберные”.

**21 декабря 1940 года:** “День рождения: мне 40 лет... — Ночью долго не мог заснуть... Поток воспоминаний, обрывки встреч, фраз... Какие-то итоги. Их подводить ещё рано: мы на полном ходу <...>.”

В последние дни перечитывал книги 1922–39–40 г<одов> — о литературных спорах. Пробежал журнал “Русский современник” — полусмеиновеховский. Изд<ания> 1924 г<ода>. — Тут Замятин, Толстой, Чуковский и пр.

Вот за 15 лет: Замятин умер в эмиграции, тяжело больным был, шторы в комнате всегда спущены, сложная диета, мрак, отрыв от родины... И постепенное забвение его литературы.

Толстой — депутат, академик, автор дурных пьес и неоконченных романов... Выберется ли на дорогу...

Чуковский в обидах, издаёт мемуары, заметно фальсифицированные: о Репине, Горьком, Маяковском и пр. Довольно нехитро изображает себя большим другом названных... Как искажена в его писаниях историческая

правда! Гораздо интереснее было бы написать, как кадет, сотрудник “Речи”, автор шумных критических статей, полусменовех двадцатых годов, попутчик и пр. стал более или менее однотонным со многими литератором.

А. Ахматова получила квартиру, издала книжку стихов в 1940 г<оду>, вновь на поверхности (после скандальной статьи Осинского в 24 г<оду>), упряма, пишет горькие, страстные призывы к расстрелянному Гумилёву и подобным им... Странно всё это.

Горький (я беру сейчас по списку № “Рус<ского> совр<еменника>”) умерщвлён врагами, меценатами всей этой правдой, попутнической публики.

Клюев – кажется в ссылке. – Асеев рвёт на себе волосы, кожу, нервен до невозможности, оскорблён провалом “Маяковский начинается”, почти без друзей, если не считать, м<ожет> б<ыть>, Фадеева, который мытарит его, лобзает и руками Гурвича топит на голосовании, обсуждении поэмы “Маяковский начинается”...

Леонид Леонов... “Вы стали несоветским писателем!” – сказали ему в ЦК. Плакал, рыдал... Пришёл в ССП, каялся, но сказал лишь 10% того, что было сказано в ЦК ему же, прямо. – Говорит: “Упал с шестого этажа... М<ожет> б<ыть>, с пятого, точно не помню”. Сидит во мраке, одинокий... Хочет поездить, в народ пойти. Ну что ж...

Вагин – такого не имею чести знать. Б. Пильняк... Помню мои ему предупреждения на президиуме. Наглый, скользкий, шумный. На встрече с Барбюсом: “Вишневский, едем в Черноморский флот пить коньяк”... Как остроумно, хха... – К концу литературной жизни явно стал он теряться, пугаться. Сослан, явный враг.

И. Бабель – хитрый, острый субъект, талантлив. Восхвалён был. Крепко сел.

Стоит ли продолжать все эти списки... – Посмотрим, как ещё повернёт жизнь к нам своё равнодушно-горькое лицо... – Иногда бешенство подступает к горлу, к глазам при виде многих бывших офицеров, сотрудников ростовских белых газет и т. п. сволочи, которая бы с нами не возилась, орденов не давала, а била бы ночью на свалках, за городом. О, многогуманные мы...

Не так трудно прибавить “нужные” слова: культурные люди нужны, пусть пишут и т. п. – И пишут... Временами сбегают от нас, иные выжидают, ловко обделывая литгонорарные делишки, сколачивая состояния... Мы ж видим этих сатириков, стилистов, которые почему-то не напишут сатиры на самих себя, этих лжеписателей, дяляг, скрытых антисемитов, подхалимов...

Всё это не слишком приятно. Безусловно. Но жизнь учит нас глядеть на явления без иллюзий. С иллюзиями как раз и заедут в затылок при случае из вполне надёжного пистолета, что все эти пильняки, бабели и пр. с нами без дискуссий и проделали бы. Могу только гордиться, что вся эта порода чуёт нас ещё по старым годам и ненавидит остро, порой инстинктивно. Они понимают, что внутреннего чистого примирения не может быть. Это странно, но это так. Борьба ещё впереди...

В 1940-м, когда Вишневский читал выходявший всего один год журнал “Русский современник”, в живых не было многих его авторов. В эмиграции умер Е. Замятин, в лагерях были расстреляны Б. Пильняк, И. Бабель, Н. Клюев. Может быть, это покажется натяжкой. Но читая эти беспощадные своей открытостью и пропитанные классово ненавистью страницы, невозможно уйти от напрашивающейся параллели. Перед нами – “правда” Мишки Кошевого в его последней встрече с Григорием Мелеховым и в их, по заключению последнего, “никчёмушнем разговоре”:

– Знаю я об твоих геройствах, слышал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть... Этого из памяти не выкинешь.

Григорий усмехнулся.

– Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежели всё помнить – волками надо жить.

– Ну что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького! <...>

– Так ты чего ж, Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать?

– Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка – и ты переметнёшься на другую сторону”.

В литературе, заметим, шла не менее ожесточённая, чем в жизни, гражданская война... Последнее, что мы узнаем о Кошевом на последней странице романа, — что он в Красной армии, скорее всего, на военных сборах. “А дядя Михаил на службе...”, — сообщает Мишатка Григорию, вернувшемуся домой. Ещё один открытый финал великого романа, открытый не только в прошлое, но и в современный 1940-й год, в том числе — в современную оборонную литературу, которую наиболее ярко и последовательно представлял именно Вишневский. А потому нам представляется, что и в наше понимание “правды” Мишки Кошова должен войти художественный опыт именно Вс. Вишневского. Сам Вишневский оставил в дневнике сверхкраткую запись об идущих в Союзе писателей битвах вокруг финала “Тихого Дона”: “Шагаю один и думаю... — Вот серия неудач у писателей. Споры и упреки Шолохову” (запись от **6 декабря 1940 года**).

В предвоенных дневниках особо остро начинает звучать у Вишневского тема мира, она перемежается с воспоминаниями о детстве, умерших матери и отце, с которым он не смог проститься, находясь далеко от Ленинграда на Дальнем Востоке. Так рождаются прозаические мирные миниатюры, которых немало сохранил дневник, рассказы о детстве, войне и творчестве:

“Четыре месяца в поездках: Дальний Восток, 20 тысяч км туда и обратно, несколько тысяч по Приамурью, затем возвращение и срочно на С—Запад и на Балтику...”

Умерла зимой мать. Умер 16 октября отец. Удар по сердцу и нервам сильнейший. Вся жизнь прошла передо мной. И отец милый, бесконечно родной, любимый, огромный, сильный перед глазами. Детство, поездки, отрочество, переломные трудные дни, война, ночь возвращения в родной дом осенью 1921 года, отец, который спустился во двор, пустынный, петербургский, и встретил меня... Боже, не перебрать всего!.. И последние годы, когда так хотелось видеть отца, поцеловать его крепкую большую руку и как-то жить вместе, расспрашивать обо всём прожитом... Инстинкт толкал меня к этому: хотелось всё собрать воедино, все осмыслить, понять судьбу, историю семьи, частицы народа... И вот умерла мать, вскоре и отец. Старшее поколение уходит. Беспощадная жизнь своими катками давит людей, время изматывает нервы и сердце.

Раньше я абсолютно не понимал, что значит боль сердца. Что-то смутное вспоминаю...

Мы обращаем свой труд в военные запасы, омертвляем огромные капиталы, мы торопимся, подчиняем всё высшей задаче: войне, обороне... Это сказывается и на искусстве, на поравнении...

Время жестокое, трудное, суровое. Эти все мысли оплачены кровью, слезами, добытые, как крупницы истины, неотъемлемые от меня. Писать бы надо обо всём этом, прямо, спокойно... Но никто из писателей не идёт на это... Какая-то молчаливая договорённость: о главном, о сути жизни не говорить. И что бы ни писали, вскоре и отец, литература именно о главном у нас не пишет, не освещает дорогу народа... Пишут о частностях, о кампаниях, и большинство дудит в унисон...

Никакие лит<ературные> лжи и красоты никогда не украшали настоящей литературы, настоящей искусства. Никогда настоящая мысль не должна ползать, угодничать, кланяться — даже перед всем человечеством. Говорить и писать надо всегда прямо, повинясь голосу совести, сердца, ума.

Увидел Россию, СССР от океана до океана. Радовался победам, горевал от неудач. Увидел прожитую свою жизнь...” (запись от **25 октября 1939 года**).

Иногда мысли посещали и вовсе мрачные: “Всё темнее тень войны, тень мрачных внутренних событий”, — героической книги о гражданской войне не получалось, прорывалось жёлчное: “О, моя родная юная гражданская война, Коммунизм, который где-то близко — где-то у Карпат, у края Европы” (запись от **3 января 1939 года**).

Однако “у края Европы” шла уже настоящая война.

Запись от **1 января 1941 года** — ощущение последнего мирного Нового года: “Спали долго... Разошлись после встречи Нового года в восьмом часу утра. Было, в общем, весело. Под утро плясали у Альтманов... Пили вино. Эренбург был навеселе и много говорил. Плохо помню, что именно... Подпила Строева, пили, ели... инстинктивная тяга к дому, к теплу у всех. Чую большую войну. Она к нам все ближе. “Мы вползаем в войну неотвратимо”, — вот одно из недавних заявлений Московского комитета... Где-то будем встречать 1942-й год?”

Запись от **26 февраля 1941 года**: “Ночь на 27 фев<аля> 41 г<ода>. Вечер в ЦДКА... Юной аудитории рассказал о нас, о матросах... Слушали тихие, застывшие. Размышлял порой вслух. М<ожет> б<ыть>, мне надо быть лектором, агитатором?... Аудитория подчиняется сразу...”

Мы сегодня порядком выпили коньяку. Все, в общем, – участники войны на финском фронте... – Иные не вернулись, а то бы выпили с нами. Мы не вернёмся – выпьют без нас... Ночь... На час-два опять чувствую музыку времени... Какое-то объединённое, особое настроение...

– Слушаю Лондон... Британия, с тобой старые счёты, но всё же: там ребята... Это трудно объяснить. Возможно, действует их стиль, их манера... С ними мы дрались. Они понимают, что значит *битая британская морда*. Вникают, сохраняя достоинство... Они умны, они практики. Они умеют молчать, терпеть. Как никак, они породили англо-американский мир... Это на данной планете много. Считаться следует, сохраняя своё достоинство...

– Они дерутся. Мир притаил дыхание: ну, вот, ещё месяца два-три – и “вопрос выяснится”. Так кажется сейчас т<ак> н<азываемому> обществу... Мы живём в ожидании последнего раунда. Это понятно всем. Мы говорим об этом. Об этом молчит лишь печать, радио, литература. Но это особый вопрос. – Все слушают иностранное радио. Волны Лондона и Берлина, часы передач знают все (мир верхней интеллигенции Москвы... Она скромно сохраняет своё положение “элиты”). Знают многое... Есть наблюдения, соображения, прогнозы... К сожалению, всё это не фиксируется в литературе. Роман о современности не существует. И его не будет... Пока... Пока не определится направление борьбы...

К войне готовность ежеминутная... Мы знаем её, мы ждём её... Ну, что ж... – приходи...”

Запись от **13 мая 1941 года**: “Гитлеровской системе места нет. Без колебаний – хоть в простой стрелковой цепи пойду на новую войну. Это будет моя пятая война”.

Запись от **15 июня 1941 года**: “Если в 1914 г<оду> некоторые французские писатели могли говорить: “Война мне не мешает”, – то современные события вторгаются в психику, творчество...”

Мешают!

Стремление к тишине и покою”.

Июньский дневник 1941 года представляет собой подробные пересказы сводок радио Лондона и Берлина – уникальные материалы для историка.

Запись от **21 июня 1941 года**, за день до начала войны:

“Пишу эпическую народную пьесу – как будем бороться с германским фашизмом. – Оттенки 1812 и Севастополя – тема вечного народа... – Сочетать русское, украинское и другие начала + модернизм тотальной войны, трагизм, юмор...”;

“Мы русские! В нашем сердце стучит кровь всех народов мира, кровь борьбы, мщениа... – Правды”.

Среди набросков к новой пьесе находим немислимые для партийца Вишневого наброски о вере с цитированием Евангелия и упоминаниями церкви:

“Эпизод в бою:

– Я верующий... Исповедаться хочу, отойти к смерти...

– Как быть? (Не предусмотрели... – Конституции не читали... – Не знаете – сколько верующих в стране?..)

– “Где двое или трое собраны во имя Мое – там я посреди их...”;

“Мыслящие ли они люди? (Опыт – беседы с бойцами!).

– Природа остаётся всё той же, человек совершенствуется... Пока не оторвется от природы... – горчайший конфликт!..

– М<ожет> б<ыть>, есть смысл в стабильности (церковь)”.

Сверху по листу с записями от **21 июня** – красным карандашом: “Утром 22-го: нота Германии. Начало войны?!”

\* \* \*

Публицистика Вишневого периода войны не была для него лишь “социальным заказом”, это были его темы, уже заявленные в сценарии “Мы, русский народ” (1937). “Мы вполне усвоили за время войны: не нужно деклара-



ций, трескучих слов. Сущность и натура нашего народа – терпелив, скромн, вынослив... Героизм русского народа – в беспримерном упорстве миллионов рядовых людей... Как потрясло сейчас мир это упорство... Пожалуй, впервые в истории Англия и США говорят о “великом примере русских”. Это величие вынужден признать и враг”<sup>15</sup>, – писал Вишневский в суровые дни осени 1941 года, когда немецкая армия стояла под Москвой.

Рядовые ленинградцы и краснофлотцы – главные герои дневника блокадных дней. Здесь нет газетной патетики, здесь про своё и всеобщее в их нерасторжимости: “Я хотел бы, чтобы после войны был создан памятник всем молчаливо умершим ленинградцам”; “Всё впитать, запомнить до конца дней, передать тем, кто не знал, не видел, не пережил”... .

И литература, и современники, и собственная жизнь измеряются историческим масштабом войны, страданиями и подвигом народа в войне. Характерные резюме к рассказам о московской литературной жизни, записанным в феврале 1943 года после приезда в Ленинград Фадеева и Тарасенкова: “О, литературный мир, – даже война с Гитлером тебя не изменяет!”

По-военному просто даётся резюме к рассказу Тарасенкова о вечере Асеева:

“Был на вечере Н. Асеева, тот странно умоляюще говорит: “Поймите, я не могу идти на фронт, я боюсь тяжёлых впечатлений, они убьют мои стихи” и т. д.

– А кто его вообще просит <идти> на фронт?..”

А вот, выдержанная в той же интонации неприятия литературоцентричности запись, сделанная в мае 1946 года:

“Вечер фронтовиков – по моей инициативе. Полно... До 200 человек... Ужин, быстро все пьянеют. Тосты, песни, стихи... В общем – дружно, Но с обычными писательскими антипатиями, язвительностью и пр. – Некоторые не пришли... .

С. Маршак: “Знаете, выступления эти звучат очень по-мужицки, по-крестьянски!..”

– А кто выручил того же Маршака, удравшего в 1941 г<оду> в глубины Азии... Вот эта мужицкая Расея... .”

В блокадном дневнике действительно есть “всё” – и советское, и антисоветское, и то, что готовится к публикации в газете, и то, что не для печати, но то, что он слышал или сам видел:

“Утро 16/III-43. На улице: “Гражданин, вы не сердитесь... Болела третьей дистрофией, память отшибло... Когда Пасха?” – “25 апреля”. – “Ну вот, спасибо”.

“Из гор<одских> слухов: “Старец ходит по Ленинграду. Если быть дому под обстрелом, является, говорит: “Уходите из сего дома... .”

В блокадном дневнике мы прочитаем и рассказы о пьянках ответственных культработников, узнаем информацию об эпидемии сифилиса в Кронштадте. Здесь же анекдоты – тоже не для печати. Крепкие, мужицкие:

“Немецкий офицер ищет в деревне уборную.

– Где у вас ватерклозет?

– Ась?

– Ватер-клозет.

– Э, милый, невдомёк нам это...

– Ну, уборную!

– Чаво?

– Ну, чёрт подери, мне нужно пос...

– А за овин иди и садись.

– Пфуй, это не порьядок...

– Э, милый, если б порядок у нас был, мы бы давно у вас в Берлине срали... .”

И крамольные, политические:

“Один русский – чернорабочий. Двое – драка. Много – очередь за водкой. Один еврей – лауреат. Два... Много – Наркомат”.

Тема войны остаётся главной и в дневниках послевоенных лет. Вишневский был среди писателей, освещавших Нюрнбергский процесс, который начался 20 ноября 1945 года, а завершился 1 октября 1946-го. К его запискам “В Нюрнберге. Ничто не забыто” и сегодня обращаются историки как к авторитетному документу.

В дневнике – хроника этих дней и мучительные вопросы о прошедшей войне, Германии и будущем мира, вопросы, которые звучат актуально и сейчас в наши дни, в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

**Запись от 21 декабря 1945 года:**

“Постоянные жалобы, но люди живут лучше, чем в России. Я был в доми-ке, где К. Федин: 2 этажа, коттедж среди садов. Принадлежит... пожарному. Копил 30 лет и в 1935 году построил участок с садом. В декабре цветы (эдельвейсы). К Рождеству – везде крендели... “Скулёж” этот никак не связан с ощущением вины нации, с пониманием того, что Германия натворила. Это спихивается на Гитлера и пр. Его винят, как неудачника; некоторые не хотят и касаться тем Нюрнберга; третьи говорят: “Сейчас хуже, чем при Гитлере”, – и четвёртые рисуют свастику на тротуарах и пр., и хранят “традиции” наци-онал-с<оциализма>”.

Остро переживалась Вишневым обрушившаяся на СССР “холодная война”, старт которой дала речь Черчилля в марте 1946 года в Фултоне в при-сутствии президента США Трумэна: “Если Россия не будет вести себя соот-ветствующим образом, то она будет разрушена”... В годы “холодной войны” Вишневский, знавший несколько иностранных языков, постоянно вписывал в дневник переводы статей из английских, французских, немецких газет, тем самым оставив (для нас!) уникальную хронику общеполитической жизни пер-вых пяти послевоенных лет. *Дамский* взгляд на эти страницы дневников вряд ли вообще уместен. Они, надеюсь, заинтересуют, прежде всего, воен-ных историков, да и историкам русской литературы, изучающим этот период, вряд ли стоит игнорировать фактор общеполитической, международной об-становки тех лет.

В дневник вклеиваются также вырезки из газет, материалы международ-ных событий (аннотации зарубежных радиопередач, аналитические справки), которые сопровождаются собственными комментариями.

**Запись от 2 февраля 1947 года:**

“Постоянные темы: общая мировая проблема, грядущее столкновение двух систем; темы литературы, искусства; личное... – Всё постоянно пере-плетается... Война дала, в общем, не (все) те результаты, которые ожида-лись. Европа, как всегда после крупной европейской войны, значительно на-дорвана. США разительно усилились и удивительнейшим путём превратились в новый центр агрессии, экспансии, вооружённый предельно, угрожающе и намечающий самые крупные планы американизации мира. Гитлеровская ме-тодика по-своему перенята новыми милитаристами и боссами США <...>. (Ал. Толстой в посл<еднюю> свою пору говорил: “только не американцы...” – Чуял...)”.

**Запись от 10 мая 1947 года:** “*Вечер 10 V 47*. Вчера День Победы, доста-точно раздумий... Мы в новой исторической полосе: безусловно, капиталис-тический мир решил нас сдержать, заблокировать и при первом подходящем случае нанести очередной удар... – Наша сила, возможность, духовная мо-бильность и пр. пугают и США, и Англию, и других... Всё под угрозой: и ста-рые институты, и религии, и собственность, и административно-политические режимы... В английской прессе изыскания о новой религии: о большевизме с его мировым идеалом...”

Потоки статей после Московской конф<еренции>: о трущобах Москвы, о низком уровне советской жизни, об очередях, барышниках у театров, “чёр-ном” рынке, где люди кое-как подрабатывают. Новые экономически-бытовые анекдоты (о ставках инженеров в США и СССР) и пр. ...Тридцать лет озлоб-ленной “информации”, где всё свалено в кучу. – Сенатор Коннэли торопит, он назвал советских людей варварами и заявляет, что против СССР выступа-ет “оскорблённое человечество”... Где этот сукин сын был в 1941-42 г<одах>?... Г. Уоэллес заметил верно, что поджигатели новой войны стре-мятся поддерживать в кипящем состоянии котёл ненависти к СССР”.

Вишневному доверяли свои размышления о войне крупнейшие военачальники, часто бывавшие у него дома, где засиживались за полночь.

**Запись от 18 февраля 1947 года** – о встрече с командующим 62-й армии, прославившейся героической обороной Сталинграда, будущим маршалом Ва-силием Ивановичем Чуйковым:

“Мне позвонил В. И. Чуйков. – Чудно поговорили и сразу приехал ко мне <...>. Чуйков сидел у меня всю ночь. “Ты, Всеволод, счастливый! Видел

подлинную историю, падение Берлина” и т. д. Говорил о том, что труп Гитлера без огласки у нас – на всякий случай... (труп Геббельса тоже у нас...) Говорил о том, что хочет написать свои мемуары – о Сталинграде, в первую очередь. Одобрил Некрасова – “но это не всё... Мамаева кургана не показал до конца. – Десятки раз переходил он из рук в руки... Нашли мы там наших и немцев в смертных объятиях – уже дралась вплотную, так и убиты, так и замерзли”... Говорил: “Немцы? Германия... Дышат идеей реванша”. Говорил о том, как в 1945-м после Парада Победы был у маршала Василевского. – “Оборона в Германии? Рубежи? Нет. История не простит, если мы в случае войны не сбросим англо-американцев в море. Прижать к Ла-Маншу – не дать возможностей...” – Вариант вернейший”.

Насколько точно Вишневский записал этот потрясающий рассказ В. И. Чуйкова, рассказ не для печати, подтверждает впервые опубликованная только в 2012 году стенографическая запись рассказа командующего 62-й армией, сделанная 5 января 1943 года в Сталинграде. Вот лишь крохотный фрагмент из этого уникального документа – о рукопашных боях, одной из примет Сталинградского сражения:

“Моменты такие можно наблюдать: наш боец обнялся с фрицем, и оба мертвы. Просто душили друг друга и ножи в ход пускали, ножами резались вовсю, а лопатка сапёрная – это лучшее оружие для рукопашной схватки: как огреют по голове, смотришь – зашатался. В обнимку лежат трупы – это часто можно было наблюдать”<sup>16</sup>.

Легендарный командующий 62-й армией маршал Василий Иванович Чуйков похоронен на Мамаевом кургане – на площади Скорби, таким было его завещание: “Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован 12 сентября 1942 г<ода> мой командный пункт... Там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал...” (письмо в ЦК КПСС, июль 1981).

Отдельную документальную повесть может составить история дружбы моряка Вишневецкого с адмиралом флота, героем Советского Союза Иваном Степановичем Исаковым, также одним из героев его дневников и творчества.

Люди такого масштаба общались с Вишневецким. Это дорогого стоит, и потому, читая страницы дневника, посвящённые встречам редактора “Знамени” с участниками войны, особенно ощущаешь, сколь искажено наше знание о писателе и человеке Вишневецком. К солдату, офицеру у него было особое отношение. Он и в послевоенной литературе о войне делал ставку на пришедших с фронта – на их знание, на их правду о войне. Мы уже упоминали В. Некрасова, которого открыл Вишневецкий. Назовем ещё одно имя. Это Сергей Орлов – поэт с легендарной военной биографией, танкист, автор одного из шедевров лирики военных лет “Его зарыли в шар земной...” (1944) и автор журнала “Знамя”. Запись в дневнике от **16 мая 1947 года** относится к редакторской работе Вишневецкого. Но не только...

“Читаю “Записки советского офицера” танкиста Пэнэжко. Бои на границе – в Зап<адной>. Украине. Есть инт<ересные> детали. Но надо сильно сжимать и лишнее убирать.

У Орлова хорошо: нам всем снится война, постоянное напоминание о смерти: от 12 ч<асов> до 8 утра... –

*Человека осаждают сны,  
Смутные видения войны:  
Ходит он который раз в атаку  
В мире абсолютной тишины.*

*Очень тихо тикают часы...  
Стрелок фосфорических усы...  
Он хрипит, ругается и плачет  
Посреди нейтральной полосы...*

*Время между вечером и днём  
Человек проводит под огнём”.*

“Тяжкий” военный сон как “постоянное напоминание о смерти от 12 часов до 8 утра” — это было близко Вишневному, прошедшему все войны XX в.

Запись от **20 марта 1943 года**: “Тяжкий сон: всё время какая-то настойчивая погоня, поиск какой-то нравств<енной> истины. Она ускользает, что-то недосказанное. Я иду, иду, вновь и вновь ищу...”

Запись от **5 февраля 1948 года**: “Тяжкий сон... И вечная военная тема: переправа ночью, кто-то тонет, бежит, кого-то бьют. Ночь чёрная — и отблески пламени”.

Записи от **4–6 декабря 1946 года** (по возвращении из Югославии) можно прочитать как “заготовки” к неосуществленному замыслу книги “Война”. Дневник фиксирует контрасты и противоречия в самой теме войны и мира, фрагменты реальности и потаённых мыслей образуют сюжет душевного состояния не только писателя, но и вообще человека, уставшего от войны:

“На поезде Львов-Москва. — Поймали ночью какого-то типа с автоматом... Бендерович? Разговоры... Танкист-инвалид... “Усадьбу у матери отобрали... А я воевал...” Ряд орденов... — Проводницы, закупающие лук и пр. для перепродажи в Москве. — Станции, оттепель, грязь, торг, толпы, голодающие из центральных районов <...>. Я очень нервен. Опять Москва, опять дела, суета, муки... Надо любой ценой вырваться, стать писателем — созерцать, думать, читать, писать, а не летать, агитировать, организовывать... и вечно быть в инерции войны, разрушения... Сделать рывок — резкий, упрямый... Спать, выключиться как угодно <...> Всё ушло в одну прорву: война и всё сопряжённое... Вот Балканы: вместо юношеских мечтаний, чтений и пр. — что-то мокрое, грязное, покалеченное, трудное... — Как назло... Мне осточертело всё это... Хочется схватить судьбу за горло, врезаться зубами, дать ей подножку, свалить... И, поднявшись, оглянуться на мир просторный, солнечный... Это не индивидуальное — об этом думают, томятся все... — И все бредут сквозь дожди, туманы, по вонючим пепелищам... Гарь, хруст углей, костей, вонь, усталость... Львовское кладбище — какой чудовищный и иронический символ... Тысячи могил перестрелявших друг друга русских, поляков, украинцев... Смешения... Мольбы. Девизы. Лозунги. Защелкивания... — Похабные надписи на святых. Испражнения... И ничего не поделаешь: моральные замечания, осуждения, вопли — к чему они? В голове плотная, как остывшая лава или как ленинградские льды, смесь впечатлений за годы... Всё нарастает... Утомляет... — “Ускорение истории”...

Чехов определял такие свои времена, когда интеллигенты устраивали пикники, Левитан изображал бедуина, петербуржцы украшали ёлки в финских лесах и на Рождество пили на снегу среди костров; когда хлеб стоил 2 копейки; когда создавалось русское искусство высокого порядка (Репин, Горький, Серов, Шалапин и пр.), — временем большим. “Царят лень, скука жизни и нелюбовь к жизни, и страх смерти... даже лучшие люди сидят сложа руки...” (1888–1889).

А это было время внутреннего вызревания могучих сил...

— Что сказать о нашем времени, его бурях, болях, бедах и скрытых потенциальных возможностях...

“Человеку нужен весь земной шар, природа”...

Порой хочется только одну комнату и тишины...

Уж очень грязен, дик и шумен весь этот земной шар...”

Как совместить эту горькую правду жизни “документа” и искусство — ответ на этот вопрос Вишневецкий ищет у русских и европейских классиков, поэтому так много в дневнике страниц, посвящённых чтению Достоевского, Блока, Чехова, Бунина. Ему интересны поиски в этом направлении не только в литературе, но и в театре и кинематографе (на страницах дневника нашли отражение встречи и разговоры с А. Довженко и С. Эйзенштейном). Ближним ему оказалась эстетика фильма “Рим — открытый город” (1945) итальянского режиссёра Роберто Росселлини соединением документализма и высокого искусства. Запись от **2 мая 1947 года** интересна не только с информативной стороны, но и тем, как филигранно точно описал Вишневецкий черты итальянского “неореализма”, начало которому в киноискусстве XX века положил антиголлиудский по своей эстетике фильм Росселлини:

“Дом кино. Смотрели итальянский фильм “Рим — открытый город” (реж<иссёр> Росселлини). Очень смелая вещь. Тема: борьба Национального

фронта против немцев... Период боев у Кассино. — Рим: атмосфера голода, подполья... Гестапо... — Главное — очень острая тонкая игра... “Как в жизни”... Великолепный типаж, абсолютная простота — следствие огромной режиссёрской работы. Фильм — явление документализма... Сейчас этот стиль, этот жанр начинает господствовать в литературе... Не надо выдумывать, “беллетризовать”... — Нужно показать подлинные явления, людей, отбирая главное, типическое...

Россellini (очевидно, коммунист) дал кипящий фильм... Правду простой жизни... Тысячи подсмотренных в жизни деталей: смешных, больных, “перепутанных”, трагических. Порой кажется, что это снято прямо с природы. Весьма интересен. Фильм — в чём-то новое слово.

В зале плакали”.

Далеки от лакировки и записи Вишневского о том, как жила страна в эти годы: засуха 1946–1947 годов, рост цен, очереди, денежная реформа, инвалиды, нищета... Вот лишь одна зарисовка “из быта” Москвы сентября 1945 года, зарисовка явно не для печати:

“Из быта. — “Знаете ли Вы, т<оварищ> писатель, жизнь? Заглядывали ли скажем, на центральный “чёрный” рынок Москвы у Петровского пассажа? Здесь торгуют только иностр<анными> товарами... Один милиционер вяло поствиствует, разгоняя, потом уходит... Знаете ли вы центр спекулянтов, коммиссионеров, скорняков, шапочников, портных в ресторане “Урал”? На Столешниковом... Тут особые нравы... Сюда ходят и бандиты, их боятся официанты и денег с них не просят. Сюда вваливаются пьяные инвалиды, здесь пьют, обделяют дела, перепродают ювелирные изделия, меха, материи, “трофеи” и т. д.” — Я ответил: “Нет, эту среду я не знаю. Писать о ней не собирался и не собираюсь”. — “А Вы поинтересуйтесь. Лучше жизнь узнаете... Люди в большинстве мерзавцы... Меньшая часть устроилась, большей не дают развернуться... Всё основано, как и прежде, на личном интересе, на расчёте... О, сколько кругом непроявленных коммерсантов, воротил, купцов, сбытчиков!.. И американцам бы нос утерли! За 28 лет обучились через угольное ушко пролезть — туда и обратно... Прямо стахановцы этого дела...” — “Нет, воротилы не развернутся...” — “Погуляйте так же, т<оварищ> писатель, по рынку на Цветном бульваре... Колхозный, так называемый, рынок... Поглядите на людей, на лица, на страсти... Сюда и иностранцы, изучающие Москву, заглядывают, интересуются и ценами, и сценками, и санитарным состоянием этой огромной грязной лужи... Здесь можно увидеть и заботу об инвалидах, валяющихся на земле... Здесь торгуют хлебными талонами — от 15 до 20 руб., — керосиновыми и другими. Здесь продают водку — в бутылках, бидонах, горшках, пузырьках, в рюмках, стопках — в чём угодно... Тут с рук продают колбасу — по ломтику, по два, по три... Сёрвис в fullest смысле. Всё для трудящихся: ну, где в магазине продают ломтик?! А тут извольте... Всё продают, с утра до ночи, при любой погоде... И без карточек, без ограничений, без принудительного ассортимента, вполне на истинных началах Атлантической, так сказать, хартии, под коей и подпись наша поставлена, а? Или вы, т<оварищ> писатель, народной нуждой, ценой хлеба насущного не интересуетесь?..”

Я слушал. — Видал я эту муть в дни нэпа, видал и за границей в 1936–37, и на фронте, отталкивающие рынки в Варшаве в феврале 1945 г<ода> — и пр.”.

Перед нами не просто запись в дневнике, а литературный текст, и вряд ли нужно искать собеседника-оппонента. Это пример классической мучительной саморефлексии, жесткого разговора с самим собой. И подобных блистательных литературных текстов немало в дневнике Вишневского, особенно послевоенных лет, когда он постоянно возвращался к собственному литературному пути, подводил итоги, ведя беспощадный диалог с самим собой о советской литературе на фоне великой русской и мировой классической литературы.

Запись от **3–5 февраля 1947 года** посвящена, можно сказать, большим вопросам не только советской литературы, но и в целом русской литературы XX века. К этим вопросам Вишневский постоянно возвращался в послевоенные годы, возвращался, просматривая свои дневники предшествующих лет, читая и перечитывая русских и зарубежных классиков. Перед нами — этюд на эту тему:

“Большой разговор с С. Михалковым — развил ему свои взгляды на советскую литературу, нерешённость в ней общих мировых проблем...”

– А Горький, Чехов?

– Великолепные писатели кануна революции, кануна долгих битв... Но решения проблем 1917–47... – кто дал, кто даст? У нас всё отдано быстрой, утилитарной литературе, “частным” впечатлениям (порой областным), нет писателей всемирного значения, эрудитов, знающих и анализирующих ту и дру- гую системы, дающих глубочайшие художественные анализы и образы для всего мира, нет писателей, значения Л. Толстого, Достоевского... Это безусловно так! – Мы делаем в целом многое, но не на достаточном политическом, философском, экономическом, культурно зрелом уровне... – Мы, главным образом, описываем героику (битв и труда), но не вскрываем мук и противоречий в себе самих, не сопоставляем опыт России с опытом других стран; не даём всего искреннего, исповедного...

Почему Маяковский говорил: “Наступаю на горло собственной песне?” Какой? Раскрыли мы это? – Не в любовном переплёте его драма, а в страхе пред всемирной проблематикой, новыми задачами и, конечно, в страхе перед одиночеством, духовным одиночеством, в которое он попал... – Асеевы и прочая компания не могли дать ему помощи в поисках больших ответов...

– Ты прав, Всеволод...

– Литература наша не вскрыла, не объяснила Ленина и Сталина – высшие типы нашего общества. Дала несколько партизан (Чапаев), обычных комиссаров, бойцов, матросов, несколько интеллигентов (Ал. Толстой), неск<олько> казаков (Шолохов), комсомольцев (Островский, Фадеев) ... Переберём всё... Ну, ответ сам честно...

– Да...

– И не дала ответов, постановки современных проблем, – до которых добились тот же Дж. Лондон, Уэллс, Шоу, Роллан, в чём-то Э. Синклер и т. д. Не дала остроты спора, вызова... полемической силы, которой были сильны, скажем, Л. Толстой, Достоевский, Горький – в его страстных обличениях... Эренбург? – Слишком памфлетен, “франкофильствует” во вкусах и стиле...

Что-то накопившееся прорвалось у меня с силой...”

Лишь одно текстологическое примечание к этому монологу о советской литературе, пронизанному мучительной саморефлексией и самонаблюдением. В списке советских писателей с их темами слово “матросов” вписано сверху, как бы прямо указывая, что и предыдущее (“обычных комиссаров, бойцов”) относится не к кому-либо, а к самому себе – автору “Первой Конной” и “Оптимистической трагедии”.

Любопытна и сама форма диалога, в которой собеседник Вишневого практически никак себя не проявляет. Судя по дневнику, Вишневский часто встречался с Михалковым, признанным советским детским писателем. Михалков заходил к нему и просто так, “поговорить”, узнать последние литературные новости, и за советом как к драматургу, с просьбой почитать его пьесы. Михалков был интересен Вишневскому не столько как один из ведущих детских писателей (он фиксирует его высказывание о советской литературе для детей), но, прежде всего, как представитель другого, чем он, литературного поколения. Январские записи в дневнике 1947 года о встречах с Михалковым, можно сказать, приоткрывают форму февральского этюда в дневнике.

Запись от **22 января 1947 года** – первые наброски к портрету Михалкова: “Зашёл С. Михалков; он смекалист, оборотист, живой, способный, с юмором, обтёрся в свете, 35 лет, седеющие <виски>, работает с расчётцем...”

– Пишет очередную пьесу “к юбилею пионерской организации”. – (Этические проблемы, драма в семье, дети...)

Интересовался моим мнением о внешней обстановке...”

Из дневниковой записи **от 27 января 1947 года** можно узнать, что Михалков читал Вишневскому свою пьесу, но главное здесь – попытка обрисовать психологический портрет представителя другого литературного поколения, понять его взгляд на литературу и его ценности:

“С. Михалков излагает мне своё житейское и эстетическое “кредо”: “Надо знать, что понравится там, “наверху”... Вот Пырьев хитрый, как муха, – он в комедиях всё делает умело и приятно... Также очень хорошими режиссёрами я считаю М. Ромма и Юткевича... Он (Юткевич) закатит такой цветной фильм – о Ленине!.. А Эйзенштейна я не люблю, у него холодная душа... – Александров Гриша – тот тоже понимает, что надо делать: какие он закатила в новом фильме лаборатории (!), учёные все ходят в белых халатах, и какие

пейзажи!.. Я ему после просмотра сказал: “Худсовет раздолбает, а там понравится”... – И я был прав... А!” – и т. д. и т. д. – с улыбкой, ясностью... (Ну, что ж: “Здравствуй, племя младое...”)

А слушал я с интересом...<sup>17</sup>

**30 января 1947 года** Михалков вновь у Вишневого:

“Михалков (мягко) просит отредактировать его сценарий (по пьесе). “У тебя большой опыт”. – Беседовали о детской литературе. “Всё началось с Чуковского, он нашёл какие-то пути к душе ребёнка, – но весь он из английской детской литературы. Оттуда же сдирает и Маршак, иногда не трудясь пометить: “с английского”... – А мы уже выросли на Чуковском и Маршаке...”.

Нам представляется, что форма записанного в феврале “большого разговора” с Михалковым была выбрана вполне осознанно. Вишневский рисковал, выбирая форму диалога, потому что в диалоге должен быть представлен собеседник с иной позицией, и не дал диалога. Получился монолог в присутствии собеседника и одновременно наедине с самим собою, с большими вопросами писателей одного с Вишневым поколения, вопросами, имеющими прямое отношение к “литературному делу”. Михалков же представлял другое поколение и другую генерацию. Он ещё не раз промелькнёт на страницах дневника Вишневого, но вряд ли тот слушал его “с интересом”, как в 1947 году: “На дежурстве... Был С. Михалков, показался, без дела... Хочет себе очередную Сталинскую премию: “До зарезу хочу, буду голосовать сам за – руками, ногами и х...”<sup>18</sup> (запись от **9 декабря 1949 года**); “Я устал от этих заседаний... В дороге Михалков с очередной дивой...” (запись от **31 января 1950 года**).

Не будет преувеличением сказать, что в послевоенные годы дневник был для Вишневого главным его литературным текстом, вбирающим в себя важный для него как военного историка и писателя материал, а чистые листы бумаги – главным его собеседником, которому можно доверять историю своего литературного пути. Только на страницах дневника послевоенных лет обретают трагическое звучание идеалы военной юности эпохи гражданской войны, взятые в зеркале бесстрашных вопросов к самому себе, к собственной личной и литературной биографии.

Запись от **6 декабря 1947 года** посвящена мучительному поиску ответа на главные вопросы русской истории, прозвучавшие в “Сокровенном человеке” А. Платонова (портрет юных красноармейцев) и в “Тихом Доне” М. Шолохова. Ответ получился без лукавства, как на исповеди:

“Подспудные мысли о самом себе... – Моё творчество было от молодости и от иллюзий, от особости мира гражданской войны, от романтики... Я чувствовал себя в людской массе именно особым; вносил свою особую тему – с напором, оригинальностью, молодым задором, правдивостью... – И это – с неизбежной в искусстве мукой – продолжалось 10 лет...”

И я как бы накликал войну.

Всё изменилось; я устал от неимоверной траты духовных и физических сил... А главное: иллюзии, царство героев особого типа, 1918–20, избранных, грубо отодвинуто историей... Они – увы! – в чём-то стали старомодны... – Я ловлю себя на этом именно, на архаичности тогдашних слов, мыслей, методов, костюмов, поступков...

Все стремительно изменилось, повзрослело...

И я не могу жить, творить иными образами и категориями... – Они для меня не музыкальны, не юны, не поэтичны... при всей их прочности, ценности... Из войны 1941–45 я не могу создать грёз, легенд... – Я в эту войну просыпался от юношеских (наивных) видений... – Я через культуру, через теорию, тысячи прочитанных книг глядел на злое, мрачное лицо войны... Исследовал её – с жестокостью, порой с холодом... В сущности, это полное духовное изменение... Иллюзии были расколочены вдребезги. Началось с первых боев финской войны, особенно в феврале 1940 года. Революция, гражданская война была темой необычайного полёта, вольности, юности... Необычайные сочетания, открытия, динамизм, преобразование мира. От Петербурга, казённого мира и мучительных окопов 1914–17 я шагнул на просторы Волги, Камы, Украины, Таврии, С<еверного> Кавказа, Черноморья, субтропиков, куда-то к близости Леванта... Это был поход к новизне всяческой, к идеальному... К близкой всемирной революции... Это был стремительный рост... Блеск юга запомнился мне навсегда... (при скудости бытия)... Центром жизни было

движение, быт, товарищество... Во мне рождалось тогда слово: я заговорил; я писал первые страницы дневников.

Я не предавался женщинам, игре, вину, порокам... И эта свежесть держалась долго... — Силы били через край. Мир мечтаний, побед, ожиданий — абсолютно не личных... — Лихорадочные действия, ожидания, незнание Запада, переполнение своим, революционным; язык романтически возвышенный...

— Всё озаренное и всё над бытом, который казался случайным, преходящим (Антанта ещё пробует мешать и т. д.)... Во всём — всемирное, восторженное...

Нам предстояло спуститься на почву реальности...

... В литературе я (и не я один) жил продлением этой удивительной, небывалой богатой, волнительной, иллюзорной жизнью... С трепетом знамен и героикой... необычайным сочетанием эмоций... С ощущением (волшебным) переделки всего... с мессианским светом в груди и без раздумий, сожалений, без ощущения скорби, смерти, траура... (Смерть переносилась легко, попутно. Вне религии. — На музыкальном порыве.) Мы наивно, свято убивали людей, полагая, что завтра всё будет хорошо, светло, чисто... — И без раздумий, без угрызений совести шли дальше, готовые сами к смерти, расстрелу, мукам...

(Это было выше известных мировых движений... Шире...)

Передо мной новые задачи, новая обстановка...

— Суровая, жёсткая... Без юных парений”.

Бесценен дневник Вишневого и для изучения литературной жизни послевоенных лет.

Ещё не наступил суровый август 1946 года, а в дневнике за июль месяц появляется запись о встрече с А. Довженко, которая предваряется упоминанием печально знаменитой газеты “Культура и жизнь”, готовившей погром августа 1946-го:

“В газете “Культура и жизнь” — сплошные проработки, избиение писателей, режиссёров и т. д. К чему это? — Газету не любят, зло о ней отзываются <...>.”

Был на днях Довженко и Ю. Солнцева. — Он недавно съездил в Крым — искал натуру <...> В пути: “Дяденька, хлеба!” Меня это преследовало неделю — детский крик на Орловщине... — Люди едут в вагонах, на крышах, на буферах <...>... На Украине плохо — погибли многие посевы и фрукты <...>. Усталость; кругом трудности, нервы...”

Записи в дневнике конца августа — начала сентября 1946 года относятся к событиям вокруг ленинградских журналов “Звезда” и “Ленинград”, “Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград” от 14 августа (опубликовано в “Правде” 21 августа) и выборов нового руководства Союза писателей. Вишевский — член правления ССП (избран на первом съезде писателей). В фондах ССП (РГАЛИ) имеются лишь скупые протоколы заседаний президиума и секретариата правления ССП. Три дня — 31 августа, 2 и 4 сентября заседания проходили с повесткой, в которой значились всего два вопроса: “О Постановлении ЦК от 14 августа...” и “О руководстве ССП”; 31 августа был избран новый секретариат, генеральный секретарь — А. Фадеев — и заместители генерального секретаря. В другие дни шла подготовка текста резолюции, согласование её пунктов с высшими партийными инстанциями и т. п. В эти горячие дни Вишевский делает записи в дневнике не сразу (очевидно, не было времени), но опыт драматурга безусловно проявился в ярких и живописных зарисовках этих дней. Скупые записи из протоколов оживают в драматических картинах и сценах из писательской жизни. Социально-политические портреты действующих лиц пишутся с военной прямоотой и сопровождаются почти драматургическими ремарками.

Записи с датировкой “После **30 авг<уста>** <19>**46 г<ода>**”:

“Опять о писателях... — Леонов из торгово-кулацкой среды, с детства травма — отец бросил семью... На всю жизнь осталась забота о заработке, приобретении и наследстве для детей... Коллекционер растений... Политически, это, думается, не наш человек (пьеса “Волк”). Мелкий буржуа в химич<ески> чистом виде, угрюмый, стремящийся к информации и верхам, знающий себе цену, играющий в правду и откровенность <...>.”

Вс. Иванов... — Глубоко враждебен марксизму; “серапион”, с многими травмами... В литературе — человек “смещённый” (в различных смыслах).



Упорный; умеющий держаться, терпеть, – русское качество... Трудная жена; хотьба к бывшей жене...

К. Федин – из этой же группы, с затаённостью, глубоким критицизмом интеллигента, бывший коммунист; “западник”...

Б. Пастернак – политически-духовно совсем чуждый, идущий своей дорогой... Копаются в грядках, пишет прозу (роман о 1905 г <оде>), переводит Шекспира превосходнейше... – Абсолютно не подлаживается, независим (порой демонстративно). Вызывает у соседей любопытство... – Крупная фигура... – Драма с женой и бывшей женой.

Н. Погодин – бывший белый журналист... Расейский тип, страдающий от социальных “неустройств”: заработал на “Аристократах” 1 млн руб. – и клял все на свете за то, что некуда вложить деньги и всё “без пользы”, нет ренты, нет обеспечения. Помнится, после одного приёма в Кремле, он материл хозяев и жизнь – нещаднейше... Пьёт; по-”купчески” берёт женщин, б/б где-то в доме, покупает их... – Учитель жизни.

О Пастернаке: “труднейшая скороговорка, обвал слов, сдержанных только тончайшим чувством меры, этот на первый взгляд тёмный напор, ошеломляющий читателей и отпугивающий их... Поучиться у Пастернака уметь управлять естественной рифмой, искусству непрерывного дыхания, стремительной искренности, богатой образности – стоит”.

“Вчера Правление ССП: казённые слова – пустые и у Тихонова (но провалась и жалоба, и протест: “Я пришел из дыма сражений... Я не организатор”... Он не мог досказать: я не политик, не дипломат...), и у Самеда Вургуня, и у Рыльского <...> Отвратительна (лицемерная) болтовня Каравановой...”

Пока молчат другие...

Я смотрю: и это наследники XIX века русской литературы?.. Первых двух десятилетий XX-го? – Они не говорят о том, что такое космос, мир, человечество, есть ли цель, смысл в бытии, есть ли целесообразность в мироздании, в земной природе, жизни, они не анализируют религию, Бога, тёмный мир человеческой души; они не сличают – до конца – бытие мира нашего и западного... Они – много молчат, порой лгут... Тоску своего, мысль не обнажают...”

Записи, датированные **2 сентября 1946 года** и “**После 2 сент<ября 1946 года>**”, важны для уточнения хроники бурных литературных событий этих дней:

“**2 сент<ября> 46**. Сегодня небольшая группа писателей идёт к А. Жданову”;

“Из отрывочных впечатлений.

– О Тихонове. – Он переживает свою драму: его снимают с поста председателя ССП за политическую недалёковидность, попустительство Зощенко и Ахматовой и пр. и проникновение чуждых влияний и нравов, за отсутствие борьбы с вредными тенденциями. Эта тяжёлая запись – в формуляр Тихонова.

Кстати, М. Шолохов вчера (29 авг<уста>) категорически отказался от поста председателя. “Я в 2 недели развалю Союз Пис<ателей>, работу...”

А. Фадеев бил себя в грудь: “Мне 45 лет, я отдал Союзу много, я хочу писать” etc.”

“2 сент<ября> 46 года.

Заседания, заседания...

В ЦК, беседа у т. Жданова... Подошёл Шолохов, протянул руку... – Я: “Познакомимся”. – “Да мы с Вами знакомы”... – Поговорили... Хорошая голова, одет просто, в светлой гимнастерке, простой говор с казачьим акцентом... – Немного словен... – В ближайшие дни возьмусь за “Тихий Дон” снова – это, в сущности, наиболее самостоятельное в литературе...”;

“Правление... Маршак, бесцветная речь Асеева на 5-6 страницах записи; Фадеев с обычными вариациями, некоторым волнением; нападки на Пастернака, на Гурвича, которого несколько лет он держал в холуях, но затем убрал и хочет добить и т. д. – Очередные бесполезные истерические слова Поликарпова (хам внелитературный) – с расчётом, с видимостью покаяния, с ударами по Тихонову, Катаеву и пр.”

“Иногда мне до тоски тяжело...”

После бесед в ЦК, дающих широкие ощущения, опять болото на улице Воровского, Поварской, 52: повторения, позы, муть, комбинации... Жизнь в литературном департаменте, давка, холодная, полная цинизма...

Писатели, очевидно, бывают порой хороши лишь в одиночку, в своих мечтах, в своём поиске извечной правды...

Легли же убитыми 242 литератора на войне... Пишут же живые порой хо-рошо...".

Вишневский был пристрастен, как, впрочем, и любой писатель. Был он зачастую и по-военному категоричен. Однако у нас нет никаких оснований, подобно автору книги, упомянутой в начале нашей статьи, предварять некоторые из приведённых записей августа-сентября 1946 года следующим умо-заклчением, смахивающим на клевету: "В дневнике появляется список не-благонадёжных писателей, которых в случае чего можно будет по очереди сдавать. И, конечно же, здесь – Пастернак"<sup>19</sup>.

Сравним два текста – запись в дневнике и эту же запись в интерпретации исследователя (подчёркнуты – разночтения):

**Дневник Вишневского:** "Б. Пастернак зашёл в "Знамя":

"Когда я написал статью о Шекспире – я проснулся утром с ощущением полного человеческого счастья. Позвонил брату: "Запомни, сегодня я абсо-лютно счастлив. Напомни, если я потом отрекусь, забуду..." – Вышел на ле-стницу: неужели испортят это ощущение? Крик снизу: "Борис <Леонид>ыч! – Вот какая неудача, беда!" – Ну вот, – "Прочли списки лауреатов, не нашли Вашего имени!" – ... От сердца отлегло: "Ну, всё в порядке..." – Ощущение моё полного счастья я удержал... Хоть ненадолго".

**Монография Н. Громовой:** "Но Вишневского переубедить невозможно. Всем существом истинного коммуниста он чувствует, что Пастернак идейно чужой, а кроме того, видимо, получает какие-то сигналы с самого верха. В один из дней Пастернак заходит в "Знамя". Вишневский записывает в дневнике его монолог: "Когда я написал статью о Шекспире – я проснулся утром с ощущением волнения и человеческого счастья. Позвонил брату: "Запомни, если я потом отрекусь или забуду..." – Вышел на лестницу: неужели испортят это ощущение? Крик снизу: "Борис <нрзб>. Вот какая неудача, беда! Я прочла списки лауреатов и не нашла Вашего имени!.. От сердца отлегло: "Ну, все в порядке". Ощущение моё полного счастья я удержал... Хоть ненадолго".

Вишневский слышит слова Пастернака о списке лауреатов, и они задева-ют его"<sup>20</sup>.

Вишневский – с 1944 года главный редактор журнала "Знамя", и в днев-нике записаны встречи со многими писателями, заходившими к нему в редак-цию. Так записана и встреча с Пастернаком. В беллетризованной же версии изложения документа получилась не встреча и не рассказ Пастерна-ка Вс. Вишневскому (!), а "монолог", произнесённый неизвестно перед кем. К слову, с политически "чуждым" ему Пастернаком Вишневский немало намучился, читая и перечитывая его стихи и поэмы, и уверяю, что на страницах дневника исследователи найдут пронизательные характеристики лирики и по-эм поэта.

Примеры пристрастного отношения Вишневского к его современникам можно множить. Так, к примеру, не меньше, чем его современники, он мучился с "Тихим Доном" М. Шолохова, пытаясь разгадать, что стоит за фина-лом романа.

Запись в дневнике от **1 ноября 1945 года** фиксирует встречу писателей, возможно, в редакции журнала "Знамя" или в Кремле, на церемонии награж-дении советских писателей:

"О писателях <...>. Шолохов недолго был в Москве... Замкнут... "Пи-шется трудно". Роман о войне обязывает его выйти за пределы хуторской дон-ской жизни и дать картины более широкие и типаж общерусский, "иногород-ний"... Сделает ли это Шолохов? – Заново возвращаюсь к дискуссии о "Тих<ом> Доне"; Шолохов, потрясённый 1937-м годом, роман кончил мрач-но... Это вызвало много недоумений, разговоров и т. д. "Менять" 4-ую часть, конечно, было нельзя, но осадок остался: путь крестьянства, среднего, Шо-лохов показал как путь гибели... Революция никому-де не прощает ошибок, политических срывов и пр. Она жестока и бессердечна..."

Ну, посмотрим...".

Он не раз ещё вернётся к "Тихому Дону". Дневник 1947 года вносит недо-стающие детали в хронику передачи Шолохову именно Вишневским рукописи 4-й книги "Тихого Дона". **3 октября:** "Вызов в ЦК: командировка в Германию на 1-ый съезд немецких писателей". Командировка длилась с 5 по 15 октяб-

ря: “Вернулся в Москву 16/Х. — Есть усталость”. По вложенной в дневник программе поездки можно определить, что рукопись была передана не в дни конгресса немецких писателей, а во время поездки в Веймар, где проходила конференция Общества по изучению Советского Союза и состоялось выступление Вишневского, Горбатова и Катаева перед советскими офицерами (пункт 13 программы). Благодаря опубликованному Ю. Дворяшиным письму Вишневского Шолохову, известно, что он отправил рукопись “Тихого Дона” в Вёшенскую 22 октября. Вопрос об ответном письме Шолохова оставался открытым. Дневник позволяет снять его. В записях дневника с широкой датировкой — **январь 1948 года** — имеется следующая информация: “Звонил М. Шолохов, благодарил за привезённую ему рукопись (один офицер нашёл подлинники “Тих<ого> Дона” во время боев 1942 г<ода>, сберёг их и дал мне в Веймаре — для Шолохова) и просил прочесть одну повесть, философскую...” Может быть, мы когда-нибудь узнаем, за кого хлопотал Шолохов перед редактором “Знамени”.

Последняя запись о Шолохове в дневнике Вишневского датируется **декабрём 1949 года** и примыкает к опубликованной переписке Вишневского и критика И. Лежнева, автора книги о Шолохове:

“Лежнев вчера рассказывал о Шолохове: он травмирован голодным 1932–33 годом на Дону; доведены до смерти были тысячи людей; кулачество орудовало с право-леваками, которые творили чёрт знает что, лишь бы довести людей до злобы и отчаяния. Людей хватили на партсобраниях. Шолохов писал в ЦК потрясающие письма. “Я Вам их покажу”... Была создана комиссия Шкирятова. Она успела ряд вещей поправить. “Но Шолохов с тех пор глубоко недоверчивый человек; до отвращения не любит романтику, фразы, красивые слова... Внутренне он задет, мрачен... Сейчас работает над нов<ым> романом. Осталось дописать 3 главы”.

Эта запись рассказа Лежнева оставляет много вопросов. Голод 1932–1933 годов — тема, закрытая для печати в СССР. Письма Шолохова Сталину 1933 года, рисующие страшные картины голода в Вёшенском районе, впервые полностью будут опубликованы только на излёте советской эпохи. Естественный вопрос: откуда эта действительно точная информация у Лежнева? Вряд ли от самого Шолохова...

Эта запись из дневника Вишневского, как и все приведённые в нашей статье, ещё ждут своего тщательного реального комментария. Мы остановились лишь на некоторых сюжетах дневника писателя. Для нас безусловно одно: работать с этим бесценным историческим и литературным документом необходимо этически достойно и научно корректно. Об этом хотелось напомнить в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, участником которой был Вс. Вишневский.

Он оставил замечательное пожелание и добрый совет нам — в осмыслении двадцатого века нашей истории и нашей литературы: “Мы столько сделали в своей жизни, что хватит на века разбираться историкам, литераторам, психологам и пр. Пусть разбираются, если у них будет время и если они сами не наделают дел ещё более острых, решительных, весьма масштабных” (запись от **7 мая 1940 года**).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Громова Н. Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы. М., 2009. С. 67.

<sup>2</sup> Там же. С. 109.

<sup>3</sup> Там же. С. 94.

<sup>4</sup> См.: Пастернак в жизни / авт.-сост. Анна Сергеева-Клятис. М., 2015. С. 417.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 1038 (Вс. Вишневский). Оп. 1. Ед. хр. 2135. Л. 55 об. Далее дневник Вишневского цитируется по данному источнику с указанием даты записи. Все сокращения открыты.

<sup>6</sup> Некрасов В. В жизни и в письмах. М., 1971. С. 172–180.

<sup>7</sup> Вишневский Вс. Собр. соч.: в 5 тт. Т. 4, 5. М., 1956–1960.

- <sup>8</sup> Вишневский В. С. Дневники военных лет (1943, 1945). М., 1974. Переизданы в 2002 году.
- <sup>9</sup> Хелемендик В. Всеволод Вишневский. М., 1980; М., 1983. Книга выложена в интернете.
- <sup>10</sup> Кривошеев Ю. Р., Соколов Р. А. Сергей Эйзенштейн и Всеволод Вишневский: из истории творческих взаимоотношений // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2001. № 5. С. 121.>
- <sup>11</sup> Речь идет о диспуте по докладу Андрея Белого во Всероссийском драматическом обществе драматургов и композиторов), который проходил с 15 января. Вишневский выступал на диспуте с критикой автора инсценировки. В записи названы некоторые из участников обсуждения доклада А. Белого: критик и драматург М. Левидов, один из ведущих критиков РАППа В. Ермилов.
- <sup>12</sup> С. К. — жена писателя Софья Касьяновна Вишневецкая-Вишневская (1899–1962).
- <sup>13</sup> Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1990. С. 286.
- <sup>14</sup> Документальный фильм, снятый группой военных кинооператоров в 1940 году. Выложен в интернете.
- <sup>15</sup> Вишневский В. С. Краснофлотцы — Москве // Красная звезда. 1941. 24 октября. С. 2.
- <sup>16</sup> Исторический подвиг Сталинграда. Документы Комиссии по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. // У всякого народа есть Родина, но только у нас — Россия. М., 2012. С. 289.
- <sup>17</sup> С конца 1930-х годов Михалков сотрудничал как сценарист с «Союздетфильмом» (художественный руководитель С. И. Юткевич) и «Совкино». Неясно, о каком фильме Юткевича идет речь (он является режиссером фильма 1938 года по пьесе Погодина «Человек с ружьем»). «Новый фильм» Г. А. Александрова, о котором идет речь в рассказе Михалкова, это фильм о женщине-учёном «Весна» (1947).
- <sup>18</sup> С. Михалков получил Сталинскую премию 1949 году за пьесы «Я хочу домой» (1949) и «Илья Головин» (1949), В. С. Вишневский — за пьесу «Незабываемый 1919» (постановление о присуждении премии опубликовано в газете «Правда» 9 марта 1950 года).
- <sup>19</sup> Громова Н. Указ. изд. С. 94.
- <sup>20</sup> Громова Н. Указ. изд. С. 85–86.